
ЕВА ВЕРЕСОВА
Жених по жребию,
или Нюхачка
из Тихого Брода

Ева Вересова

Жених по жребию, или Нюхачка из Тихого Брода

https://litres.ru/74700554
SelfPub; 2026

Аннотация

Мне восемнадцать, у меня лучший нос в Тихом Броде после Лотты и привычка подглядывать из-под повязки, от которой меня не отучила даже мандрагора.

Этим летом я собиралась готовиться к экзамену на королевского нюхача. А Бруна решила возродить Летний жребий: все незамужние девицы тянут из шляпы имя, и до самого Урожайника — танцы вдвоём, в храм под ручку, на сенокос рядом.

Я вытянула Тима. Тима, который вырос у нас на глазах. Тима, который четыре года назад уехал в столицу, не попрощавшись. Тима, который теперь королевский сыщик в начищенных сапогах — и даже в шляпе-то его быть не должно было.

А в Сестрином саду тем временем пропадают молодые мандрагоры, коровы на лугу падают в обморок целым стадом, а красавец из столицы зовёт меня в королевские сады.

А Тим молчит. Как всегда.

Как понять, где жребий, а где судьба, если потом в подкладке шляпы находят одиннадцать записок с одним и тем же именем?

Ева Вересова
Жених по жребию, или Нюхачка из Тихого Брода

Ева Вересова
Жених по жребию,
или Нюхачка из Тихого Брода
Травницы Тихого Брода. Книга четвёртая

Аннотация

Мне восемнадцать, у меня лучший нос в Тихом Броде после Лотты и привычка подглядывать из-под повязки, от которой меня не отучила даже мандрагора.

Этим летом я собиралась готовиться к экзамену на королевского нюхача. А Бруна решила возродить Летний жребий: все незамужние девицы тянут из шляпы имя, и до самого Урожайника — танцы вдвоём, в храм под ручку, на сенокос рядом.

Я вытянула Тима. Тима, который вырос у нас на глазах. Тима, который четыре года назад уехал в столицу, не попрощавшись. Тима, который теперь королевский сыщик в начищенных сапогах — и даже в шляпе-то его быть не должно было.

А в Сестрином саду тем временем пропадают молодые

мандрагоры, коровы на лугу падают в обморок целым стадом, а красавец из столицы зовёт меня в королевские сады.

А Тим молчит. Как всегда.

Как понять, где жребий, а где судьба, если потом в подкладке шляпы находят одиннадцать записок с одним и тем же именем?

Часть первая. Летний жребий

Глава 1. В которой я подглядываю (как всегда)

Я подглядываю.

Всю жизнь. С шести лет — с тех пор, как Мотя впервые завязала мне глаза старым кухонным полотенцем и велела «нюхать, а не глазеть». Полотенце пахло луком и Брунины-ми плюшками. Я понюхала. Сказала: «Мята». Мотя сказала: «Правильно». А я подглядывала. В щёлочку снизу, над самым носом. Мята лежала на столе — зелёная, с мокрыми листиками. Я её видела.

Мотя сказала, что я жульничаю.

Я сказала, что я проверяю.

Мотя сказала, что это одно и то же.

Двенадцать лет прошло. Мотя до сих пор так говорит.

* * *

Утро накануне Солнцеворота пахло так, как пахнет в Тихом Броде только раз в году: свежескошенной травой с заречного луга, липовым цветом с площади, тестом из Бруниной пекарни — она уже третий день пекла праздничные венки с маком — и немного дымом. Это Торвальд разжигал горн. Торвальд всегда разжигает горн в пять, даже в праздник. Он говорит, что железо праздников не соблюдает.

Я лежала с закрытыми глазами и нюхала.

Это у меня от Лотты. Лотта говорит, утро нужно нюхать, а не смотреть, потому что смотреть утром нечего — всё серое. А нюхать — всё. Лотта знает, она не видит с девяти лет. Я вижу. Но всё равно сначала нюхаю.

Липа. Тесто. Дым.

И ещё — с нижнего этажа, из-под пола, сквозь щели в половицах — уксус, камфора и толчёный корень валерианы.

Значит, дед уже открыл аптеку.

Значит, без четверти шесть.

Я открыла глаза.

Моя комната — над аптекой Гроссе. Под самой крышей. Потолок косой — встанешь резко, стукнешься. Я стукалась двенадцать лет. Теперь не стукаюсь — выросла и научилась вставать вбок. Окно круглое, как иллюминатор: папа Лукас говорит, что дед Фабиан в молодости хотел быть моряком и вставил его нарочно. Дед говорит, что это враньё и окно было таким всегда. У деда при этом краснеют уши. Я давно за-

метила: у всех мужчин в Тихом Броде, когда они врут, краснеют уши. Граф Холт слышит ложь звоном. А мне хватает ушей.

На подоконнике — горшок с рассадой мелиссы. Банка с засушенными лепестками сонника. Двенадцать пробирок в деревянной подставке, подписанных моим почерком: «Бруна. Понедельник». «Бруна. Вторник». «Дед после ссоры с Аларикомъ». «Гуннар после бани». «Олаф, трезвый (редкость)».

Это мои тренировки. Экзамен в сентябре.

Королевский нюхач.

Лотта сдавала его восемь лет назад первой во всей Аверни — тогда и должности такой не было, её придумали ради Лотты. С тех пор сдали ещё трое. Двое — в Сольмаре, один — на юге, в Каменце. Ни одной девушки. Ни одного из Тихого Брода.

Я буду пятой.

Я так решила, когда мне было десять, и Лотта взяла меня на первое в её жизни настоящее дело. Ну, не взяла. Я сама пошла. Подглядывала из-за угла, как она нюхает влюблённых. Потом она меня учуяла — по лаванде, у меня от неё тогда все платья пахли, — и сказала: «Нелли. Выходи. Раз пришла — нюхай».

Я вышла.

И нюхаю с тех пор.

* * *

Я оделась — платье голубое, рабочее, с большими карманами, фартук сверху, коса уложена вокруг головы, чтоб не лезла в горшки. Спустилась по лестнице. Девятая ступенька скрипит. Я её всегда перешагиваю.

Внизу, за стойкой, стоял дед.

Мэтру Фабиану Гроссе семьдесят три года. Он маленький, кругленький, лысый, с белыми бакенбардами, как у старого кота, и с очками на кончике носа. Он лекарь, аптекарь и главный ворчун Тихого Брода. Сорок лет назад он продавал «универсальную микстуру» от всех болезней. Потом тётя Агата его отучила. Теперь он продаёт настоящие лекарства и стыдится, когда кто-нибудь вспоминает про микстуру. Вспоминают все. Каждую неделю.

— Опять не позавтракала, — сказал дед, не поднимая головы от весов.

— Я в школе поем.

— В школе Мотя ест. Остальные голодают.

— Мотя не ест, дедушка. Её поливают.

— Элем, — сказал дед мрачно. — Тёплым. С мёдом. Из моих запасов. Агата говорит — «для здоровья». Здоровье мандрагоры, Нелли, обходится этому городу дороже, чем здоровье бургомистра. — Он стукнул гирькой. — Возьми пирожок. Мама пекла. С капустой.

Я взяла пирожок.

— И Филю найди, — сказал дед. — Он опять залез к Лукасу в стол. Искал «сыскные секреты». Нашёл записку от Хель-

ги. Прочитал вслух. За завтраком. — Дед поднял на меня глаза поверх очков. — Твоему отцу теперь неделю краснеть.

— Что там было?

— Неважно, — сказал дед. И покраснел ушами.

Я засмеялась.

Это у нас в семье. Подглядывать.

* * *

Школа травников «Под полынью» стоит на краю Тихого Брода, у самой реки, за старым забором, который весь зарос хмелем. Хмель кусачий — он хватает чужих за рукава. Своих — нет. Меня он гладит по плечу, когда я прохожу в калитку. Потому что у меня «зелёная рука». Слабенькая. Тётя Агата сказала — «как у меня в шесть лет, если бы я в шесть лет её не тренировала». Я тренировала. Двенадцать лет.

Сильнее она не стала.

Зато мандрагоры меня любят.

Это я узнала случайно, в одиннадцать, когда сидела в Сестрином саду у мельницы и плакала — Тим тогда уехал с графом в Вельск на две недели, и мне было не с кем драться, — и маленькая Пуговка, совсем росток, вылезла из горшка, доползла до меня по траве на своих корешках и легла мне на колени. Мотя потом сказала, что за сто лет ни одна мандрагора не лезла к человеку по собственной воле. Кроме неё самой к тёте Агате. И то — к Агате она не лезла, Агата её носила.

С тех пор я — помощница в Сестрином саду. Каждое

утро. До занятий.

Но сначала — «Нюх».

* * *

Урок «Нюх» идёт в школьной кухне по понедельникам, средам и пятницам. Раньше — только по средам. Потом учеников стало больше. Теперь их сорок семь, школа разрослась на два новых флигеля, тётя Агата наняла ещё четверых учителей, и «Нюх» поделили на старшую группу и младшую.

Старшую ведёт Лотта. Когда не на деле.

Младшую ведёт Мотя.

Ну — как ведёт. Мотя сидит в своём горшке посреди стола и командует. Ведём мы. Я, если Лотта занята. Сегодня Лотта была в Глинске — граф отправил её проверять аптекаря, который продавал «настойку от облысения» из лопуха и печной золы. Лотта вернётся к вечеру.

Значит — я.

Младших было семь. Они сидели вокруг стола с завязанными глазами. На стульях, на скамейке и один — на подоконнике.

Ядя Холт — десять лет, тётина Агатина, рыжая, серьёзная, сидит прямо, руки на коленях, как на королевском приёме.

Эрик Холт — семь, её брат, тёмный, как граф, вертится и шмыгает носом. Он всё время чихает. Полынь. Граф говорит — «это наследственное».

Анна Ройс — восемь, дочка Ильзы и Аларика. Светлые

кудряшки, обожжённые на концах, как у мамы. Сидит с блокнотом. С завязанными глазами — с блокнотом. Говорит, папа учил, что всё надо записывать.

Эмиль Ланге — шесть, сын Лотты и Петера. Тихий, крупный, как Петер, с Лоттиным пепельным пушком на голове. Он нюхает лучше всех в младшей группе. Он даже не подглядывает. Он говорит, что ему не надо — «мама же не подглядывает».

Двое с выселок — Гретины младшие братья, близнецы, Ян и Юр. Они дерутся. Всегда. Даже с завязанными глазами. Даже сейчас.

И Филя.

Филипп Фенн. Шесть лет. Мой брат. Рыжий, как папа Лукас, вихрастый, весь в веснушках, с дыркой вместо переднего зуба. Сидел на подоконнике. С повязкой на глазах.

Повязка была сдвинута на лоб.

На полпальца. Ровно настолько, чтобы снизу, над самым носом, оставалась щёлочка.

Я знаю эту щёлочку. Я сама её двенадцать лет делаю.

— Филя, — сказала я.

— Я не подглядываю, — сказал Филя.

— Подглядываешь.

— Не подглядываю.

— Ты ешь мой пирожок.

Пауза.

Филя медленно положил на подоконник мамин пирожок

с капустой, который успел стащить у меня из кармана фартука, пока я завязывала Эрику повязку. Откусанный.

— Он пах, — сказал Филя. — Я его унюхал. Это же урок «Нюх».

— Ты его увидел.

— Я его и унюхал, и увидел, — сказал Филя с достоинством. — Это называется — проверка.

С середины стола, из глиняного горшка, раздался скрипучий смешок.

— Ох, — сказала Мотя. — Ох, Мать-Земля. Ох. Двенадцать лет. Я двенадцать лет назад вот этими самыми листьями слушала то же самое. Слово в слово. «Это называется — проверка». — Она повернулась в горшке ко мне. — Ну, рыжий — понятно. Отец сыщик. А ты-то, Нелли, ты в кого?

— В деда, — сказала я.

— Дед твой не подглядывает. Дед твой врёт. Это другое.

— Мотя хорошая, — сказал Кеша. С карниза над печкой.

— Хорошая, — согласилась Мотя. — Старая только.

* * *

Мотя состарилась.

Это все замечают, но никто не говорит. Она по-прежнему сидит в своём горшке — том же самом, глиняном, с отбитым краешком, который ещё бабушка Ядвига покупала на ярмарке в Глинске. По-прежнему командует, ворчит, требует тёплого эля и любовных романов вслух. По-прежнему визжит, когда злится, — так, что у людей подкашиваются ноги.

Но листья у неё стали тоньше. И не такие зелёные. Серебристые по краям. Как у полыни.

И она стала больше спать. Днём. Посреди урока. Посреди фразы.

И чаще говорит «двенадцать лет назад», «восемь лет назад», «а вот когда Агата только приехала».

Тётя Агата говорит — Моте за пятьдесят. Для мандрагоры это — как для человека за восемьдесят.

Я об этом стараюсь не думать.

Я подглядываю. Я всё вижу. Но про это — стараюсь не видеть.

* * *

— Начинаем, — сказала я. — Ядя. Что это?

Я поднесла к её носу пучок. Ядя понюхала. Серьёзно, как граф на допросе.

— Душица, — сказала Ядя. — Сушёная. Прошлогодняя. С Мглистого опушки, не из оранжереи — там она пахнет мёдом, а эта — ещё и сосной.

— Правильно.

Ядя кивнула, не улыбнувшись. Она никогда не улыбается, когда права. Она это считает естественным.

— Эрик. Что это?

Эрик понюхал. Чихнул. Понюхал ещё раз. Чихнул.

— Полынь, — сказал он, утираясь рукавом.

— Как ты узнал?

— Я чихнул, — сказал Эрик. — Я всегда чихаю от полы-

ни. Папа тоже. Мама говорит — это наш дар.

Мотя в горшке захихикала.

— Анна.

Анна понюхала, подумала, записала что-то в блокнот — вслепую, наощупь, строчки ползли вкось — и сказала:

— Лаванда. С примесью… — понюхала ещё раз, — с примесью тебя.

— Меня?

— От неё пахнет тобой, — сказала Анна. — Она лежала у тебя в кармане. Рядом с пирожком.

Филя на подоконнике хихикнул.

Я посмотрела на лаванду. Действительно — я положила её в карман с утра, рядом с пирожком, и забыла.

— Правильно, — сказала я. — Молодец.

Анна записала: «Молодец». И поставила дату.

— Эмиль.

Я поднесла к Эмилю склянку. Без пучка. Просто — открытую склянку с капелькой.

Эмиль понюхал. Долго. Медленно. Как Лотта. С закрытыми — под повязкой — глазами и повёрнутой набок головой.

— Это — не трава, — сказал он. — Это — масло. Розовое. Дорогое. — Пауза. — А под ним — уксус. Немножко. Чтобы было больше.

Я замерла.

Это была склянка, которую Лотта неделю назад конфисковала у торговца на ярмарке в Глинске. «Розовое масло, чи-

стейшее, с юга». Разбавленное уксусом на треть. Лотта унюхала через три прилавка.

Эмиль — через повязку. В шесть лет.

— Правильно, — сказала я. Тихо.

Мотя в горшке зашевелила листьями.

— Ох, — сказала она. — Ох. Растёт смена. — И посмотрела на меня своими глазками-бусинками. — А ты, Нелли, не зевай. Он тебя через пять лет обнюхает и на экзамене обойдёт.

— Не обойдёт, — сказала я.

— Обойдёт, — сказала Мотя. — Он не подглядывает.

* * *

Урок кончился в восемь.

Младшие разбежались. Ядя пошла в библиотеку — она читает «Уложение о снадобьях», для удовольствия. Эрик пошёл чихать в оранжерею. Анна пошла записывать в блокнот всё, что запомнила. Эмиль пошёл к папе на мельницу. Близнецы ушли драться за сарай.

Филя ушёл за мной.

Я его не звала. Я знала, что он пойдёт. Я в шесть лет ходила за Тимом и тётей Агатой точно так же — на расстоянии в двадцать шагов, прячась за заборами и думая, что меня никто не видит.

Меня видели все.

Тим потом говорил — «Нелли, ты прячешься, как корова за берёзой».

Тим.

Я про Тима не думала.

Ни капельки.

Я взяла Мотю — двумя руками, горшок тяжёлый, как бочонок с элем, — и пошла к мельнице.

Мотя молчала. Она теперь на ходу всегда молчит. Ей тяжело. Раньше она болтала всю дорогу — про Бруну, про графа, про «Невесту чёрного дракона». Теперь — молчит и смотрит по сторонам. На реку. На иву. На небо.

Кеша летел над нами. Кругами.

Филя шёл сзади. Двадцать шагов. За заборами.

Как корова за берёзой.

* * *

Сестрин сад — за мельницей. На заречном лугу. Там, где раньше была только трава и роса, а теперь — ограда. Низкая, кованая, Торвальдова, вся в железных листьях и железных цветах. Не от людей. От ветра. Над воротами — табличка.

«Сестрин сад».

Внутри — шестнадцать горшков. Глиняных, разного размера. На пнях, на камнях, на грядках, в тени старой ивы. В каждом — мандрагора.

Шестнадцать. Двенадцать из них спасли восемь лет назад — по всему королевству, из подвалов и кладовок, куда их рассадила мадам Мирр, чтобы толочь на приворотные духи. Четыре родились здесь. Сами. Из семян. Мотя говорит, это первые мандрагоры за сто лет, родившиеся на воле. Она на-

зывает их внучками.

А ещё — ростки. Нынешней весны. Совсем маленькие. Их высеяли в грядку прямо в землю, а не в горшки, — Груня настояла, сказала, что «в горшке расти — всё равно что всю жизнь в шкафу сидеть». Мотя возмущалась, потом сдалась. Ростков было шесть. Их зовут: Пуговка, Ниточка, Иголка, Напёрсток, Булавка и Шпулька. Это Груня тоже придумала. Она в то время слушала, как Бруна шьёт, и решила, что это самые красивые слова на свете.

Я открыла калитку. Хмель на ограде погладил меня по плечу.

— Доброе утро, — сказала я саду.

Сад зашевелился. Шестнадцать мандрагор в шестнадцати горшках повернулись ко мне. Зашептали — тихонько, как листья на ветру. Мандрагоры почти никогда не говорят громко. Громко — только Мотя. И Груня.

— Нелли! — сказала Груня. Громко.

Она сидела в самом большом горшке, у ивы. Ей теперь — по человеческому счёту — лет пятнадцать. Восемь лет назад она была крошечным ростком в коробке у мадам Мирр. Теперь — крепкая, с пышной шапкой листьев, с маленьким сердитым личиком в узловатом корне. Она красит листья соком черники. В синий. Мотя говорит, это «распущенность». Груня говорит, это «самовыражение».

— Нелли! — сказала Груня. — Нелли, Нелли, Нелли, у нас беда!

Мотя у меня на руках вздрогнула.

Я поставила её на пень у ворот. Её место. Посмотрела на Груню.

— Какая беда?

Груня не ответила. Она смотрела на грядку. На ту, где ростки.

Я посмотрела тоже.

Пуговка. Ниточка. Иголка. Напёрсток. Булавка.

Пять.

На месте Шпульки — ямка.

* * *

Ямка была аккуратная. Не разрытая — вынутая. Ровная, круглая, глубиной в ладонь. Как будто кто-то вставил в землю совок и вынул росток вместе с комом. Края — гладкие. Земля вокруг — нетронута. Ни следа ноги, ни следа лапы.

Шпулька была самая маленькая. Самая слабая. Вылезла последней, в мае, и до сих пор была с мой мизинец. Пищала по утрам, как цыплёнок.

Мотя на пне молчала.

Я опустилась на колени перед ямкой.

И стала нюхать.

Это — первое. Всегда — первое. Лотта учила: «Не смотри. Смотреть будешь потом. Сначала нюхай. Глаза врут. Нос — никогда».

Я закрыла глаза.

Земля. Сырая, тёплая. Ночная роса в ней. Корни — свои,

Шпулькины: молочко, горечь и что-то вроде свежего огурца.

А поверх — чужое.

Дёготь. Берёзовый. Тяжёлый, чёрный, смолистый — им смазывают сапоги, колёса, ворота.

Ваниль. Сладко, приторно, дорого — такую ваниль не продают в Тихом Броде, её везут с юга, она стоит как мешок муки за палочку.

И — мокрая шерсть. Овечья. Как пахнет войлок после дождя. Как старая бурка. Как — я подумала — как рукавица.

Кто-то был в войлочной рукавице. Чтобы не обжечься о мандрагору — свежевынутые ростки жгут кожу, как крапива. Кто-то знал это.

Дёготь — на сапогах. Ваниль — на руках. Или на одежде. Войлок — рукавица.

И ещё что-то.

Совсем слабое. На самом дне. Под дёгтем.

Я наклонилась ниже. Почти к самой земле.

Воск. Не пчелиный — красный, с примесью киновари и смолы. Как на письмах. Как на печатях.

Сургуч.

— Нелли, — сказала Мотя. С пня.

Голос у неё был — тихий. Тихий-тихий. Такой, какого я у неё никогда не слышала. Даже когда она восемь лет назад учуяла на площади мадам Мирр.

— Нелли. Где Шпулька?

Я открыла глаза.

— Её вынули, Мотя. Ночью. Совком. Кто-то в войлочной рукавице.

Мотя молчала.

Её серебристые листья медленно, медленно поднимались. Расправлялись. Как перья у разъярённой птицы.

Маленькое корявое личико в корне — сморщилось.

Кеша над садом вдруг перестал кружить. Сел на иву. Распушился.

— Мотя, — сказала я. — Мотя, подожди…

— Опять, — сказала Мотя.

— Мотя…

— ОПЯТЬ?! — сказала Мотя.

И завизжала.

* * *

Если вы никогда не слышали, как визжит разъярённая мандрагора, — вам повезло.

Это не звук. Это — удар. Он начинается в ушах и тут же проваливается внутрь — в голову, в горло, в колени. Колени подгибаются. Голова звенит, как колокол на ратуше в полдень. В глазах темнеет. Двенадцать лет назад, на свадьбе тёти Агаты, Мотя завизжала на пьяного стражника, и он упал. И ещё четверо вокруг. И Бруна уронила пирог.

Я — привыкла. Почти. Я выросла на Мотином визге. У меня — у всех, кто в школе с детства, — в кармане всегда полынь. Сухая, в мешочке. Сунешь щепотку под язык — горечь бьёт в голову сильнее визга, и не падаешь.

Я сунула.

Горько. Мерзко. Как будто лизнула печную трубу.

Я не упала. Только села на траву. Уши заложило.

Шестнадцать мандрагор вокруг пригнулись в горшках, как трава под ветром. Груня зажала уши листьями.

Мотя визжала.

На весь луг. На всю реку. На мельницу. На Тихий Брод.

Я знала, что сейчас будет. На мельнице Петер, если не успел сунуть полынь, сядет на мешок с мукой. Эмиль — тоже. Петеров отец, старый Ганс, — упадёт. Вороны на иве — упали. Ну, не упали. Слетели. Стрелами. Все разом.

А за оградой, в двадцати шагах, за кустом бузины, — что-то бухнулось в траву.

Филя.

— Мотя! — закричала я. — Мотя! Филя!

Мотя не слышала. Она визжала.

Я поползла к ограде. На четвереньках. Голова гудела. Полынь во рту горела.

И тут Мотя замолчала.

Сразу. Как отрезало.

Потому что её подняли.

* * *

Кто-то стоял у пня. Высокий. Спиной ко мне. Против солнца.

Он держал Мотин горшок. Обеими руками. Легко. Как держат кувшин с молоком. Прижав к груди.

Мотя в горшке — замолчала. Листья медленно опустились. Личико разгладилось.

— Ну, — сказал он. Тихо. Мотиным листьям. — Ну, будет. Будет. Я здесь.

Голос.

Низкий. Глуховатый. С хрипотцой — совсем чуть-чуть, на самом донышке. Как будто человек долго молчал, и голос у него немного заржавел.

Я этот голос знала с шести лет.

Тогда он был тонкий, мальчишеский, и всё время орал: «Нелли, слезь с забора!» «Нелли, не трогай!» «Нелли, ты прячешься, как корова за берёзой!»

Потом, лет в тринадцать, он сломался. Стал скрипучий, как несмазанная калитка. Срывался то вниз, то вверх. Тим тогда месяц почти не разговаривал — стеснялся.

Потом — он уехал.

На четыре года.

И вернулся — этим.

Низким. Глуховатым. Заржавевшим.

Он повернулся.

* * *

Тим Полынов. Двадцать два года. Младший дознаватель Особого отдела Королевского сыска. Северное отделение. Застава в Тихом Броде — с мая, в старом доме сборщика податей у моста.

Он вытянулся. Это было первое, что я подумала, когда

он вернулся весной. Он всегда был длинный, но тощий, как жердь, с острыми локтями и коленками, вечно в ссадинах. Теперь — не жердь. Высокий. Плечистый. Как будто кто-то взял того мальчишку и долго, терпеливо, четыре года подряд, доделывал.

Тёмная куртка с нашивкой Особого отдела — серебряная ветвь полыни на рукаве. Белая рубашка. Ремень с бляхой.

Волосы — тёмно-русые, коротко стриженные по-столичному. Только на макушке торчит вихор. Тот самый. Его не взяла ни одна столичная цирюльня. Тётя Агата когда-то говорила, что у Тима волосы «как у ежа, которого испугали».

Глаза — карие. Тёплые. С зелёными крапинками у зрачка — когда на солнце.

Сейчас были на солнце.

И сапоги.

Чёрные. Высокие. Начищенные до такого блеска, что в них отражалось небо. И ива. И Сестрин сад. И, когда он подошёл ближе, — я. На четвереньках. С растрёпанной косой, вылезшей из-под заколок. С травой на коленках. С полынью во рту.

Четыре года назад Тим ходил босиком. Летом — всегда. Зимой — пока Бруна не ловила и не обувала силой. У него пятки были чёрные, как у трубочиста. Он говорил, что в сапогах «ноги думать не могут».

Теперь — сапоги. Такие, что можно бриться, глядя в голенище.

Я встала.

Отряхнула коленки. Выплюнула полынь. Поправила косу. Подняла подбородок.

— Доброе утро, господин младший дознаватель, — сказала я.

— Доброе утро, госпожа младшая нюхачка, — сказал Тим.

Мы посмотрели друг на друга.

Он — сверху вниз. Он теперь выше меня на голову. Раньше было — на полголовы. Я подросла. Он — сильнее.

Это было нечестно.

* * *

— Ты что тут делаешь? — сказала я.

— Мотя визжала, — сказал Тим.

— Это я слышала.

— На всю заставу, — сказал Тим. — Ингрид упала со стула. Писарь упал со стула. Голубь упал с крыши. — Пауза. — Я — нет.

— Почему?

Он молча открыл рот. Показал. Под языком у него лежал сухой серый листок.

Полынь.

— Ты носишь полынь? — спросила я. — До сих пор?

— Всегда, — сказал Тим. — С десяти лет. Я её носил. — Он кивнул на Мотю у себя на руках. — Попробуй поноси мандрагору без полыни.

Мотя у него на руках что-то пробормотала. Неразборчиво. Сонно. И закрыла глаза.

Она уснула. У него на руках. Как тогда — двенадцать лет назад. Когда он таскал её в мешке через лес, к графу, — спасать тётю Агату.

Я смотрела на это.

На старую Мотю с серебристыми листьями. На его руки — большие, с длинными пальцами, с белым шрамом через левую ладонь, которого четыре года назад не было.

Мне что-то кольнуло в груди. Чуть-чуть. Как будто вдохнула полынь не тем горлом.

— Филя, — сказала я. Резко. — Там Филя. За бузиной. Он упал.

— Знаю, — сказал Тим. — Я видел, как он за тобой шёл. От самой школы. Двадцать шагов. За заборами. — Пауза. — Как корова за берёзой.

Я открыла рот.

Закрыла.

Тим смотрел на меня. Лицо — спокойное. Неподвижное. Как у графа на допросе.

Только уголок рта. Справа. Дрогнул.

На полволоска.

Это — он смеётся. Он теперь так смеётся. Я заметила ещё в мае. Раньше он хохотал — громко, запрокидывая голову, до икоты, — над чем угодно: над Мотиными ругательствами, над Ильзиными взрывами, над тем, как я упала в бочку

с дождевой водой. А теперь — уголок рта. Справа. На полволоска.

Столица его научила.

Я ненавижу столицу.

* * *

Филя лежал за бузиной на спине, раскинув руки, и смотрел в небо. Глаза открыты. Улыбался.

— Нелли, — сказал он. — Небо кружится.

— Это Мотя.

— Мотя кружит небо?

— Мотя кружит тебя. Вставай.

Филя сел. Пошатнулся. Тим поставил Мотю на пень, подошёл, взял Филю под мышки — одной рукой — и поставил на ноги. Филя посмотрел на него снизу вверх. Глаза — круглые.

— Ты — Тим, — сказал Филя.

— Я — Тим.

— Ты — сыщик.

— Младший дознаватель.

— Это — сыщик, — сказал Филя твёрдо. — Папа сказал. Папа сказал, ты — лучший из молодых, кого он видел за двадцать лет. Он маме говорил. Ночью. На кухне. Я слышал.

Тим молчал.

— А ещё папа сказал, — продолжил Филя, — что ты дурак. Потому что…

— Филя, — сказала я.

— …потому что ты четыре года…

— Филипп Фенн!

Филя замолчал. Посмотрел на меня. На Тима. Снова на меня.

— А что я такого сказал? — спросил он. Невинно.

Тим отвернулся к реке. Уши у него — я видела, я всё вижу — покраснели.

У всех мужчин в Тихом Броде, когда им неловко, краснеют уши.

У Тима — тоже. Даже теперь. Даже после столицы.

Это было единственное, что меня в то утро утешило.

* * *

— Вынули совком, — сказал Тим.

Мы стояли над ямкой. Втроём — я, Тим и Филя, который держался за мой фартук и не отходил ни на шаг. Мотя спала на пне. Груня смотрела на нас из-под ивы. Шестнадцать мандрагор — тоже.

Тим присел на корточки. Сапоги скрипнули. Он не стал трогать землю. Достал из-за пазухи блокнот — маленький, в чёрной кожаной обложке, — и карандаш. Что-то записал. Посмотрел на ямку. Ещё записал.

Он даже писал теперь как граф. Мелко. Быстро. Не глядя.

— Совок узкий, — сказал Тим. — Садовый. Железный. Края гладкие, без зазубрин — новый или хорошо наточенный. — Он показал карандашом на край ямки. — Вынули одним движением. Кто-то знает, как это делается. Рука твёр-

дая.

— Он был в войлочной рукавице, — сказала я.

Тим поднял голову.

— Откуда ты знаешь?

— Пахнет, — сказала я. — Мокрая шерсть. Овечья. Войлок после росы. Свежевынутая мандрагора жжётся. Он знал. Он взял рукавицу.

Тим смотрел на меня.

— Ещё?

— Дёготь. Берёзовый. На сапогах. Не на твоих — у тебя ваксой. И ваниль. Южная, дорогая. На руках — или на рукаве. — Я помолчала. — И сургуч.

— Сургуч?

— Красный. С киноварью. Как на письмах. Как на печатях. Совсем чуть-чуть. Под дёгтем.

Тим записал.

Потом посмотрел на меня снизу вверх — с корточек. Долго.

— Лотта научила? — спросил он.

— Мотя, — сказала я. — Лотта. И сама.

— Ты стала лучше, — сказал он.

Он сказал это — просто. Без подначки. Без уголка рта. Как факт. Как граф говорит «дело закрыто».

И я не знала, что с этим делать.

Четыре года назад он бы сказал: «Ну ты и собака, Нелли». И это было бы лучшее, что он мог сказать. И я бы ему за это

дала подзатыльник. И он бы меня за косу. И мы бы катались по траве.

А теперь — «Ты стала лучше».

Как чужой.

— Я всегда была хорошей, — сказала я. — Ты просто четыре года не видел.

Тим опустил глаза в блокнот.

Ничего не сказал.

Уши у него — снова.

* * *

— Нелли, — сказала Груня. Тихо. Из-под ивы.

Мы обернулись.

Груня смотрела на нас. Синие — черничные — листья опущены. Маленькое корявое личико — испуганное.

— Нелли, — сказала она. — Шпулька — не первая.

Тишина.

— Что? — сказала я.

— В апреле, — сказала Груня. — У Иголки была сестра. Колечко. Она проросла в марте. Совсем-совсем маленькая. Мы думали — её крот съел. Мотя сказала — крот. — Пауза. — А в мае — Пяльцы. Тоже маленькая. Тоже думали — крот.

Я смотрела на неё.

— Почему вы не сказали?

— Мотя запретила, — прошептала Груня. — Мотя сказала — это крот. Мотя сказала — не беспокоить Нелли, у Нел-

ли экзамен. Мотя сказала — не беспокоить Агату, у Агаты школа. Мотя сказала — она сама. Она ночью не спала. Она сторожила. — Груня всхлипнула. — А сегодня — уснула. Она теперь всё время засыпает, Нелли. Под утро. Она сторожила-сторожила — и уснула.

Я посмотрела на Мотю.

Мотя спала на пне. Серебристые листья — опущены. Маленькое старое личико — спокойное.

Она сторожила.

Три месяца.

Одна.

И никому не сказала.

Потому что у меня — экзамен.

* * *

Тим встал. Сапоги скрипнули. Убрал блокнот за пазуху.

— Три, — сказал он. Тихо. — Колечко — в апреле. Пяльцы — в мае. Шпулька — сегодня. — Он посмотрел на грядку. На пять оставшихся ростков. — Все — самые маленькие. Самые молодые.

— Почему самые молодые? — спросила я.

— Потому что их легче унести, — сказал Тим. — Потому что они ещё не умеют громко визжать. — Пауза. — Потому что их легче научить.

— Научить — чему?

Тим не ответил.

Он смотрел на Мотю. Долго. Потом наклонился. Снял с

себя куртку — тёмную, с серебряной полынью на рукаве. И укрыл ею Мотин горшок. Как одеялом.

Мотя во сне пробормотала что-то. Кажется — «болван». Ласково.

— Нелли, — сказал Тим. Не оборачиваясь.

— Что?

— Я поставлю сюда стражника. На ночь. Двух. С полынью.

— Мотя не любит чужих.

— Мотя любит, чтобы её сестёр не воровали, — сказал Тим. — А чужих она потерпит. — Он помолчал. — И я сам приду. Сегодня. После полуночи.

— Зачем?

Он повернулся ко мне.

Карие глаза. С зелёными крапинками. На солнце.

— Потому что это — моё дело, — сказал он. — Застава. Северное отделение. Кражи редких растений из королевского… — Он запнулся. — Из сада.

— Это не королевский сад. Это — Мотин сад.

— Тем более, — сказал Тим.

И ушёл.

По тропинке, вдоль реки, к мосту. Без куртки. В белой рубашке. В сапогах, в которых отражалось небо.

Не оглядываясь.

Как четыре года назад.

* * *

Я стояла в Сестрином саду и смотрела ему вслед.

Филя держался за мой фартук.

— Нелли, — сказал Филя.

— Что?

— А папа правда сказал, что Тим дурак. Потому что он четыре года каждое…

— Филя, — сказала я. — Не подслушивай.

— Я не подслушиваю, — сказал Филя. — Я проверяю.

Я посмотрела на него.

Шесть лет. Рыжий. Вихрастый. С дыркой вместо зуба.

И подглядывает.

— Пойдём, — сказала я. — Отнесём Мотю в школу. Ей надо поспать.

— А Тимину куртку?

— И Тимину куртку.

Я подняла Мотин горшок. С курткой. Куртка пахла…

Я не собиралась её нюхать. Честно.

Я — нюхачка. Я нюхаю всё. Это не значит, что я специально.

Куртка пахла ваксой. Конской сбруей. Чернилами. Столичным мылом — дорогим, с бергамотом, такое продают на Королевской улице в Сольмаре. Пирогами — Бруниными, с капустой, он, наверное, завтракал у неё. Дымом — от горна Торвальда. Полынью — из кармана.

И ещё — на самом дне, в подкладке, в нагрудном кармане, у самого сердца — чем-то, чего там быть не могло.

Лавандой.

Сушёной. Старой. Очень старой. Почти выдохшейся.

Моей.

Я двенадцать лет мою волосы лавандовой водой. Вдова Мартенс научила, когда Лотта приехала. Я тогда решила, что тоже хочу пахнуть, как Лотта. С тех пор все мои ленты, все платки, все платья…

Я остановилась посреди луга. С Мотей и курткой в руках.

Филя врезался мне в спину.

— Нелли? — сказал он. — Ты чего?

Я не ответила.

Я стояла и нюхала куртку младшего дознавателя Особого отдела Королевского сыска.

Я подглядываю. Я всю жизнь подглядываю. Я всё вижу.

Но этого я не видела.

Я это — учуяла.

И не знала, что с этим делать.

* * *

А на площади, когда мы проходили мимо, Ганс — Брунин сын, девять лет, рыжий, как Гуннар, весь в муке — клеил на стену ратуши огромный лист. Криво. Клейстер стекал.

На листе было написано — огромными красными буквами, Бруниным почерком, с ошибками:

«ЛЕТНИЙ ЖРЕБИЙ!!!

ЗАВТРО. НА СОЛНЦЕВОРОТ.

ВСЕМ НЕЗАМУЖНИМ ДЕВИЦАМ ЯВИТСЯ НА ПЛОЩАДЬ К ПОЛУДНЮ.

ОТКАЗЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Бруна».
И ниже, поменьше, приписка:
«Шляпа — моя. Соломенная. Не трогать».

Глава 2.
В которой Бруна достаёт соломенную шляпу

К обеду об этом знал весь город.

Ганс расклеил двенадцать листов. На ратуше. На храме. На «Хромом гусе». На кузне Торвальда — Торвальд отклеил и сунул в горн, сказал, что у него на воротах висят только подковы. На дверях школы — тётя Агата оставила, сказала, «пусть дети учатся читать». На мельнице. И даже на заставе у моста — Ганс потом хвастался, что приклеил прямо на табличку «Особый отдел Королевского сыска», а младший дознаватель вышел, прочитал, ничего не сказал и ушёл обратно.

Я знаю, потому что Ганс рассказал это мне. Трижды. Пока я покупала хлеб.

— Он прочитал, — сказал Ганс, — и вот так сделал. — Ганс поднял одну бровь. Не получилось — поднялись обе. — И ушёл. А потом высунулся и сказал: «Завтра — через "а"». И снова ушёл.

— Он прав, — сказала я.

— Мама говорит, это неважно, — сказал Ганс. — Мама говорит, главное — шляпа.

* * *

Бруна стояла за прилавком пекарни. С соломенной шляпой.

Шляпа была огромная. Широкополая, жёлтая, плетёная, с выцветшей синей лентой и с дыркой на макушке, заштопанной красными нитками. Она лежала на прилавке между караваями и венками с маком — дном вверх, как корзинка. Пустая.

Бруна смотрела на неё так, как бабушки смотрят на внуков.

— Это — она, — сказала Бруна, когда я подошла к прилавку. — Нелли, это — она. Смотри.

— Я вижу.

— Нет, ты смотри. — Бруна погладила шляпу по полям. Осторожно, кончиками пальцев, в муке. — Мне было восемнадцать. Как тебе. Тридцать семь лет назад. Последний раз жребий тянули тогда. На Солнцеворот. Из этой самой шляпы. Она — бабушкина моя. Бабушка из неё тянула. Мама тянула. Я — тянула. — Бруна вздохнула. — Я вытянула Ганса.

— Ганса-пекаря, — сказала я.

— Ганса-пекаря, — сказала Бруна. Глаза у неё стали мокрые. Бруна плакала всегда легко — от лука, от свадеб, от того, что тесто хорошо подошло. — Он был такой худой, Нелли. Длинный, как оглобля. Уши — как ручки у кувшина. Я как его записку развернула — у меня колени подкосились. Думала, умру. Позор на весь город — Ганс-оглобля. А он по-

дошёл — красный весь, уши горят — и говорит: «Бруна, ты не бойся. Я плясать не умею. Но я научусь».

— И научился?

— Нет, — сказала Бруна. — Никогда не научился. Всё лето мне ноги оттаптывал. А на Урожайник мы прыгнули через костёр. — Она шмыгнула носом. — Двенадцать лет прожили. Потом его бык поднял. Ядвига его выходила. Ещё пять лет протянул. Потом — всё.

Она замолчала.

За её спиной, в глубине пекарни, у печи, огромный, как медведь, капитан Гуннар месил тесто. Голыми руками. В фартуке поверх мундира. Он слышал. Я видела, как его спина замерла. Потом он снова стал месить. Медленно. Бережно.

Гуннар двадцать лет ждал, пока Бруна овдовеет и перестанет горевать. Двадцать лет ходил мимо пекарни. Потом тётя Агата приехала, и всё в Тихом Броде как-то закрутилось, и они поженились. Теперь у них Ганс-младший — назвали в честь первого. Гуннар сам предложил.

— А после вас? — спросила я. — Почему больше не тянули?

— Война, — сказала Бруна. — Потом — неурожай. Потом — новый бургомистр сказал, что это «пережиток». — Она фыркнула. — Пим тогда был молодой, важный. А теперь — Пим сам пришёл ко мне. В понедельник. Сказал: «Бруна, у нас в городе за последний год три свадьбы. Три! А девиц на

выданье — двадцать две! А парней — восемнадцать! И все ходят мимо друг друга, как куры мимо зерна». — Бруна выпрямилась. — Я ему сказала: «Олдрик. У меня есть шляпа».

Шляпа на прилавке лежала. Дном вверх. Ждала.

— Бруна, — сказала я. — Я не буду тянуть.

Бруна посмотрела на меня.

Долго.

Потом взяла с прилавка самый большой венок с маком. Положила в мою корзинку. Поверх хлеба.

— Будешь, — сказала она.

— У меня экзамен.

— Будешь.

— Бруна, у меня экзамен в сентябре. Королевский. Мне надо готовиться. Каждый день. Я не могу всё лето плясать с кем-то, кого мне вытащат из шляпы. А если вытащат — Олафа?

— Олаф женат. Олафа нет в шляпе.

— Ну — Ганса!

— Гансу — девять. Гансу ещё рано.

— А если — сына мясника? Он мне в прошлый раз на ярмарке ноги отдавил! Он до сих пор поёт серенады вдове Шнайдер!

— Вдова Шнайдер вышла замуж в позапрошлом году, — сказала Бруна. — За сына мясника. Он счастлив. Его нет в шляпе.

Я замолчала.

— Нелли, — сказала Бруна. Мягче. — Деточка. Ты двенадцать лет нюхаешь. Утром — нюхаешь. Днём — нюхаешь. Вечером — со своими пробирками сидишь. Я видела. У тебя на окне. «Бруна. Понедельник». — Она вытерла руки о фартук. — Ты меня по запаху знаешь лучше, чем Гуннар. Ты весь город знаешь по запаху. А тебя кто знает?

Я не ответила.

— Восемнадцать лет, — сказала Бруна. — Все уже на кого-то заглядывались. Грета — на Петерова подмастерья. Роза Йоргенова — восемь лет как замужем. Линн с выселок — на писаря с заставы. — Она подняла бровь. — А ты?

— А я — на экзамен, — сказала я.

Бруна смотрела на меня ещё секунду.

Потом засмеялась. Громко. На всю пекарню. Гуннар у печи обернулся.

— Ох, Нелли, — сказала Бруна, вытирая глаза. — Ох, деточка. Ты врёшь, как твой дед про микстуру. У тебя уши красные.

Я схватилась за уши.

У женщин уши не краснеют. Это у мужчин.

Я проверяла. Двенадцать лет.

У меня — краснели.

* * *

Дома за обедом было то же самое.

Только хуже. Потому что на меня смотрели четверо. Пятеро, если считать Филю. А Филю нужно считать — он смот-

рел внимательнее всех.

Мама поставила на стол щи. Мама — это Хельга. Она высокая, светловолосая, спокойная, как вода в колодце. Она лучше всех в Тихом Броде готовит после Бруны и лучше всех в Тихом Броде молчит. Когда мама молчит — дед перестаёт ворчать, папа Лукас перестаёт шутить, а Филя перестаёт подглядывать. На минуту.

Мама сегодня не молчала.

— Нелли, — сказала мама. — Ты пойдёшь.

— Мам.

— Ты пойдёшь.

— Мама, у меня экзамен.

— Экзамен в сентябре, — сказала мама. — А жребий — до Урожайника. Конец августа. Успеешь.

— А тренировки?

— Тренируйся на том, кого вытянешь, — сказал папа Лукас.

Папа Лукас — рыжий, весёлый, весь в веснушках, с шрамом на подбородке, который он получил, когда ловил контрабандистов с тётей Агатой и графом двенадцать лет назад. Он работает в Особом отделе. Правая рука графа. Он женился на маме, когда мне было семь. Я тогда его спросила: «А ты будешь мой папа?» Он сказал: «Если ты разрешишь». Я разрешила.

Он мой папа. Самый лучший. Даже когда говорит глупости.

— Как это — тренируйся на том, кого вытянешь? — спросила я.

— Ну, нюхай его, — сказал папа. — Каждый день. Где был, что ел, с кем ругался. Как ты на нас тренируешься. — Он показал ложкой на мой подоконник, который было видно из кухни через лестницу. — «Лукас после бани». Я видел. Я не обиделся. Почти.

— Это не одно и то же.

— Почему? — спросил дед. Не поднимая глаз от щей.

— Потому что это… — Я запнулась. — Это неприлично. Нюхать чужого парня. Каждый день.

— Нюхать чужого деда — прилично, — сказал дед. — «Дед после ссоры с Аларикомъ». Я видел.

Филя хихикнул.

— Филипп, — сказала мама.

Филя перестал хихикать. Но подглядывать — не перестал. Он смотрел на меня поверх ложки. Круглыми глазами. Как будто ждал, что я сейчас скажу что-то такое, что потом можно будет пересказать на кухне Бруны за пирожок.

— Я вам скажу так, — сказал дед. Отложил ложку. Снял очки. Протёр их краем скатерти. Мама поморщилась. — Я в сорок восьмом году тянул. Тоже из этой шляпы. Ну — из бабушки Бруниной, её тогда держала. Я вытянул… — Он надел очки. — Неважно кого. Мы всё лето друг друга терпеть не могли. Она меня называла «сычом». Я её — «вороной». А на Урожайник…

— Прыгнули? — спросил Филя.

— Сожгли записку, — сказал дед. — Как положено. Без обид. — Пауза. — А через год она вышла за моего брата.

— А ты? — спросил Филя.

— А я женился на твоей бабушке, — сказал дед. — Царствие ей небесное. Которая была её младшей сестрой. — Он снова взял ложку. — Так что, Нелли, жребий — это не про любовь. Жребий — это чтобы люди посмотрели друг на друга. Наконец. А что из этого выйдет — уже их дело.

Мама смотрела на деда. Я никогда не слышала этой истории.

Папа Лукас — тоже.

— Фабиан, — сказал папа. — Вы мне никогда не рассказывали.

— А ты не спрашивал, — сказал дед. — Ты сыщик. Должен был сам догадаться.

Папа открыл рот.

Мама положила ему руку на плечо.

Он закрыл.

— Нелли, — сказала мама. — Ты пойдёшь.

Я смотрела в щи.

— Ладно, — сказала я. — Пойду. Вытяну. Сожгу записку на Урожайник. Без обид. Как дед.

— Вот и умница, — сказала мама.

Филя за ложкой — я видела — улыбался. Дыркой вместо зуба.

Он что-то знал.

Шестилетние всегда что-то знают.

* * *

Тимину куртку я понесла на заставу в пять.

Я бы не понесла. Я бы оставила её в школе, на вешалке, у Моти. Пусть сам забирает. Но Мотя проснулась в три, увидела куртку на своём горшке, понюхала — Мотя тоже нюхает, это она нас научила, — и сказала:

— Отнеси.

— Пусть сам заберёт.

— Отнеси, — сказала Мотя. — Ему ночью холодно будет. На лугу. Он придёт сторожить — без куртки. Простудится. Болван.

— Он взрослый, Мотя. Он сыщик. Пусть сам о себе думает.

Мотя посмотрела на меня. Долго. Своими глазками-бусинками. Как смотрела двенадцать лет назад, когда я подглядывала из-под полотенца.

— Нелли, — сказала она. — Ты куртку нюхала?

Я покраснела. Ушами.

— Отнеси, — сказала Мотя. И закрыла глаза.

* * *

Застава стояла у моста. Старый каменный дом сборщика податей — двухэтажный, с толстыми стенами, с узкими окнами и с флюгером в виде рыбы, которая всегда показывала не туда. Сборщик податей умер шесть лет назад. Дом стоял

пустой. Весной граф выкупил его для Особого отдела.

Над дверью теперь висела табличка. Медная. «Особый отдел Королевского сыска. Северное отделение. Застава Тихого Брода». И пониже — на гвоздике — Ганс-ов лист про жребий. Не отклеенный. Только «ЗАВТРО» было аккуратно исправлено карандашом. На «ЗАВТРА».

Я постучала.

Дверь открыла — не Тим.

Девушка. Высокая — выше меня на полголовы, вровень с ним, наверное. Рыжая. Не как папа Лукас — тот морковный. А тёмно-рыжая, медная, как начищенный котёл. Волосы заплетены в косу и уложены вокруг головы короной. Лицо — узкое, с острым подбородком, с прямым носом, с веснушками — мало, только на переносице. Глаза — зелёные. Насмешливые.

На ней была такая же куртка, как у Тима. Тёмная, с серебряной полынью на рукаве. Только — распахнутая. Под ней — рубашка, мужская, закатанные рукава. На поясе — нож.

В руке — яблоко. Надкушенное.

Она посмотрела на меня. На корзинку с хлебом и венком. На куртку у меня в руках.

Откусила яблоко.

— А, — сказала она. С хрустом. — Ты — та самая Нелли.

— Какая — та самая?

Девушка прожевала. Не торопясь.

— Ингрид, — сказала она. И протянула руку. Ту, что без

яблока. — Вальд. Напарница. Из Сольмара. — Пауза. — Его.

Я пожала руку. Рука у неё была сухая, твёрдая, с мозолями на пальцах — от ножа, наверное. Или от поводьев.

И пахла яблоками. Антоновкой. Свежей. И — чернилами. Тушью. Как у Тима. И железом. И кожей. И столичным мылом с бергамотом.

Тоже как у Тима.

Они пахли одинаково.

Я отпустила её руку.

— Какая — та самая? — повторила я.

Ингрид смотрела на меня. Сверху вниз. С любопытством. Как Анна Ройс смотрит на новую бабочку, прежде чем записать её в блокнот.

— Он про тебя ни слова не говорит, — сказала Ингрид. — Четыре года. Я с ним с первого дня в Сольмаре. Мы вместе учились. Вместе служили. Вместе по крышам за контрабандистами лазили. Он мне про всех рассказывал. Про Агату. Про графа. Про Мотю — часами. Про Бруну, про Гуннара, про мельника, про слепую сыщицу, про то, как Ильза взорвала сарай. Про всех. — Она откусила яблоко. — Про Нелли — ни слова.

— И?

— И это значит — та самая, — сказала Ингрид.

Я не поняла.

Я стояла на пороге заставы с курткой и смотрела на неё.

Ингрид доела яблоко. Аккуратно. До огрызка. И бросила

огрызок через моё плечо — в реку. Не глядя. Попала.

— Его нет, — сказала она. — Он у графа. Отчёт пишет. Про твою Шпульку. — Пауза. — Он, кстати, сказал, что ты учуяла сургуч. Под дёгтем. Он сказал это так… — Она подумала. — Как будто ты Сольмар взяла штурмом.

— Он так сказал?

— Нет, — сказала Ингрид. — Он сказал: «Нелли учуяла сургуч». И всё. Три слова. — Она пожала плечами. — Но я его четыре года знаю. Для него это — штурм.

Я молчала.

Ингрид протянула руку.

— Давай куртку, — сказала она. — Я передам.

Я посмотрела на куртку. Тёмную. С серебряной полынью. С лавандой в нагрудном кармане.

И не отдала.

— Я сама, — сказала я.

Ингрид подняла бровь. Одну. У неё — получилось.

— Как хочешь, — сказала она. — Он вернётся к ночи. Перед засадой. — Пауза. — Кстати, ты тянешь жребий завтра?

— Тяну.

— Я тоже, — сказала Ингрид.

Я замерла.

— Ты? Ты же… Ты же из Сольмара.

— Я живу в Тихом Броде с мая, — сказала Ингрид. — Я незамужняя. Мне двадцать пять. Бруна сказала — все незамужние. Без исключений. — Она улыбнулась. Широко. На-

смешливо. — Я ей говорила, что я на службе. Бруна сказала, что на службе — граф, и граф женат. А я — не граф. Она дала мне пирожок. С капустой. И сказала, что в полдень ждёт.

Ингрид оперлась о косяк. Скрестила руки на груди.

— Интересно, — сказала она, — кого я вытяну.

И посмотрела на меня. Зелёными глазами.

Насмешливо.

* * *

Я ушла с курткой.

Я не знаю, зачем я её не отдала. Это было глупо. Я шла от моста вдоль реки к мельнице, с курткой младшего дознавателя через руку, с корзинкой хлеба на другой, с маковым венком, который на ходу терял мак, и думала.

Они пахнут одинаково.

Чернила. Тушь. Железо. Кожа. Бергамот.

Четыре года — вместе. Вместе учились. Вместе служили. Вместе по крышам.

Он ей про всех рассказывал. Про Мотю — часами.

Про меня — ни слова.

«Это значит — та самая».

Я не понимала, что это значит.

То есть — понимала. Ингрид имела в виду, что он молчит обо мне, потому что… потому что это важно. Вот что она имела в виду. Я поняла.

Но Ингрид могла и врать.

Ингрид — сыщица. Сыщицы врут. Я видела, как граф

врёт подозреваемым — без звона, потому что граф врёт только тогда, когда сам себе верит. А Ингрид…

У Ингрид уши не краснели. Ни разу. Я смотрела.

У женщин не краснеют.

Только у меня.

* * *

Лотта вернулась из Глинска к семи.

Я ждала её на мельнице. Сидела на крыльце их дома — того, что Петер с отцом перестроили из старой сушильни, — и смотрела, как Эмиль на лугу ловит кузнечиков. С закрытыми глазами. На слух.

Он поймал троих. Я — ни одного. Даже с открытыми.

Лотта приехала на почтовой телеге. Спрыгнула — легко, не держась, — стукнула о землю белой тростью с медным наконечником. Повернула голову. К крыльцу. Ко мне.

Понюхала.

— Нелли, — сказала Лотта. — Ты сидишь на моём крыльце. С венком от Бруны. С хлебом. — Пауза. Она понюхала ещё раз. Медленно. Повернув голову набок, как птица. — И с чьей-то курткой.

Я ничего не сказала.

Лотта поднялась на крыльцо. Шесть ступенек. Пятая скрипит — она её не перешагивает. Она её любит. Села рядом со мной на ступеньку. Поставила трость между коленями.

Лотте — двадцать шесть. Она маленькая, тонкая, с пе-

пельной косой, уложенной вокруг головы, как у меня. Это я у неё научилась. Глаза — светлые, серо-голубые, незрячие, смотрят чуть мимо тебя. Как будто видят что-то за твоим плечом. На груди — серебряный медальон. На пальце — кольцо с крышечкой. Внутри — лепесток сонника. Петер меняет его каждую среду.

Лотта — королевский нюхач. Первая в Аверни. Она учуяла приворотное зелье под фиалками, когда ей было восемнадцать. Она нашла двенадцать мандрагор по всему королевству. Она нашла Шпульку… нет. Шпульку пока никто не нашёл.

Лотта — мой учитель. Мой идол. Моя старшая сестра, которой у меня никогда не было.

И Лотта знает про меня всё.

Потому что я пахну.

— Ваксой, — сказала Лотта. Задумчиво. Принюхиваясь к куртке. — Конской сбруей. Чернилами. Бергамотом — столичное, дорогое. Пирогами Бруны. Дымом Торвальда. Полынью. — Пауза. — И лавандой. В нагрудном кармане. Твоей.

Я молчала.

— Это Тимина куртка, — сказала Лотта.

— Он ею Мотю укрыл. Утром. В Сестрином саду. Я несу отдать.

— Ты несёшь её с пяти часов, — сказала Лотта. — От заставы. Через мельницу. Ты была на заставе. Там пахнет ан-

тоновкой. На тебе — антоновка. Чужая. Яблоко ела не ты. — Пауза. — Ты там была — и не отдала.

— Его не было.

— А кто был?

— Ингрид, — сказала я. — Вальд. Напарница. Из Сольмара.

Лотта кивнула.

— Я её знаю, — сказала она. — Нюхала. В мае. Когда они приехали. Пахнет яблоками и одиночеством.

— Одиночеством?

— Холодной комнатой, — сказала Лотта. — Пустой. Где давно не топили. Это у неё под мылом. Глубоко. Так пахнут люди, которым не к кому возвращаться. — Пауза. — Тим так пах, когда вернулся. В мае. Я его на площади учуяла и чуть не заплакала.

— А раньше?

— А раньше — нет, — сказала Лотта. — Я его помню четырнадцатилетним. Он тогда пах травой, Мотей и чужими пирожками. — Она улыбнулась. — Тебя же Хельга кормила, а ты ему таскала. С шести лет, мне Мотя рассказывала. В двадцати шагах за ним ходила. За заборами.

— Как корова за берёзой, — сказала я.

— Это он так говорил? — Лотта засмеялась. — Он мне никогда не рассказывал.

Я молчала.

Я не помнила, что таскала ему пирожки.

То есть — помнила. Конечно, помнила. Но не думала, что это кто-то замечал.

— А сейчас? — спросила я. Тихо. — Сейчас он чем пахнет? Под мылом?

Лотта долго молчала.

Эмиль на лугу поймал четвёртого кузнечика. Засмеялся. Отпустил.

— Сейчас, — сказала Лотта, — он пахнет так, как пах Петер. Первые пятьдесят одну среду.

Я повернулась к ней.

— Как?

— Мукой, рекой и тем, что он молчит, — сказала Лотта. — Тем, что он что-то держит. Внутри. Изо всех сил. И боится уронить.

* * *

Я спросила про жребий.

Лотта сказала: «Тяни».

Я спросила — а если вытяну не того?

Лотта сказала: «Все вытягивают не того. Бруна вытянула оглоблю. Дед твой — ворону. Я — вообще никого не тянула, мне приворотное зелье в чашке вытянуло». Она засмеялась. «Жребий — это не про того. Жребий — это про лето. Потом — сжигаешь записку. Или — нет».

Я спросила — а если я хочу сжечь?

Лотта повернула ко мне голову. Своими незрячими глазами. Мимо меня. За моё плечо.

— Нелли, — сказала она. — Ты меня уже восемь лет спрашиваешь одно и то же. Разными словами.

— Что?

— «А если он меня не узнает». «А если он вернётся другой». «А если он меня забыл». «А если он тогда меня не услышал». — Лотта помолчала. — Ты меня это спрашивала каждую осень. Четыре года. Когда приходило письмо от графа из Сольмара, где про Тима — две строчки. Ты приходила ко мне на крыльцо и спрашивала.

Я молчала.

Я не помнила, что спрашивала.

То есть — помнила.

Но думала, что Лотта не поняла, о ком.

Лотта поняла.

Лотта всегда всё понимает.

Потому что я пахну.

— Отнеси куртку, — сказала Лотта. — Сегодня. Он придёт сторожить твоих мандрагор. Без неё. А ночи на лугу холодные.

— Мотя то же самое сказала.

— Мотя умная, — сказала Лотта. — Мотя сорок… нет — пятьдесят лет живёт. И сорок из них читает любовные романы. Она знает, когда куртку надо отнести.

* * *

Я не отнесла.

Я вернулась домой. Повесила куртку на крючок у своей

двери. Под косым потолком. Рядом с моим голубым фартуком.

Поужинала. Не помню чем.

Поднялась к себе. Девятую ступеньку не перешагнула. Наступила. Она скрипнула. Филя в своей комнате за стенкой засмеялся. Он знает, что я её всегда перешагиваю.

Села на кровать. Посмотрела на круглое окно.

Солнце садилось. Над Мглистым лесом. Розовое. Как Брунин пирог с вишней. Это не я придумала. Это Петер так говорит. Лотте. Каждый вечер. Он описывает ей небо. Он восемь лет описывает ей небо. И каждый раз — по-новому.

Я подумала, что никто никогда не описывал мне небо.

Мне не надо. Я вижу.

Но всё равно.

* * *

Четыре года назад был Урожайник.

Мне было четырнадцать. Тиму — восемнадцать. Он уже тогда был длинный, но ещё тощий, с острыми локтями, с вихром и с голосом, который только-только перестал ломаться. Он уже тогда помогал графу. Неофициально. Бегал с поручениями, ездил в Вельск, в Глинск, носил Мотю, если надо было кого-то унюхать. Граф говорил, что из него выйдет толк. Тётя Агата говорила, что из него уже вышел толк, просто граф не замечает.

На Урожайник на площади разожгли костёр. Огромный. Торвальд сложил. Все плясали. Бруна с Гуннаром. Тётя Ага-

та с графом. Ильза с Алариком — Аларик по параграфам, Ильза — как взрыв. Лотта с Петером — она вела, он наступал ей на ноги, она смеялась.

А я стояла у костра. В новом платье. Синем. Мама сшила. С косой — уже одной, не двумя. Я в тот день впервые заплела одну. Как Лотта.

И ждала, что он меня позовёт.

Он не позвал.

Он стоял с другой стороны костра. С графом и папой Лукасом. С кружкой сидра. Смотрел в огонь.

Тогда я подошла сама.

Я обошла костёр. Встала рядом. Он посмотрел на меня. На синее платье. На одну косу.

И сказал: «Ты чего так вырядилась, Нелли? Тебя Бруна в пирог запечь хочет?»

И я — я не знаю, что на меня нашло. Может, костёр. Может, сидр — мне налили полкружки, Бруна разрешила. Может, то, что я подглядывала за ним весь вечер, а он ни разу не посмотрел в мою сторону.

Я сказала: «Когда я вырасту — я на тебе женюсь».

И поцеловала его в щёку.

Быстро. Неловко. Куда-то между щекой и ухом.

От него пахло сидром, дымом и полынью.

Он замер. Как будто в него молния ударила. Посмотрел на меня. Глаза — огромные. Карие. В зелёную крапинку — от костра.

Ничего не сказал.

Ни слова.

Я убежала.

Домой. Под косой потолок. Стукнулась. Легла. Не спала всю ночь. Думала — завтра он придёт, и скажет. Что-нибудь. «Нелли, ты дура». Или: «Нелли, ты маленькая». Или — хоть что-нибудь.

Утром Филя — ему тогда было два, он ещё не ходил толком, но уже подглядывал — заполз ко мне в комнату и сказал своё первое длинное предложение.

Он сказал: «Тим уехал на лошадке».

Тим уехал.

С графом. В Сольмар. В шесть утра. На четыре года.

Не попрощавшись.

Ни со мной. Ни с Мотей. Мотя потом неделю ни с кем не разговаривала.

Граф сказал — его взяли в столичную школу сыска. Внеочередным. Место освободилось внезапно, надо было ехать сразу. Тётя Агата сказала — он плакал, когда прощался с ней. В пять утра. На кухне. Сказал — «передайте всем».

Всем.

Он передал — всем.

* * *

Я лежала на кровати и смотрела на куртку на крючке.

Темнело. Белых ночей у нас на севере нет, но в июне темнеет поздно и ненадолго. Небо над Мглистым лесом из ро-

зового стало синим. Потом — тёмно-синим. Потом — чёрным, с первыми звёздами.

Колокол на ратуше пробил одиннадцать.

Потом — полночь.

Я встала. Подошла к круглому окну.

Из него видно реку. Мост. Заставу. И дальше — мельницу. И луг за ней. И Сестрин сад — тёмным пятном у ивы.

По мосту кто-то шёл.

С фонарём. Высокий. В одной рубашке — белая, в темноте видно. Без куртки.

Шёл к мельнице.

Быстро. Не оглядываясь.

Я смотрела, как огонёк фонаря плывёт над мостом. Над водой — отражение. Два огонька. Один — настоящий. Другой — в реке.

Как будто кто-то шёл по мосту — и по реке одновременно.

Фонарь дошёл до мельницы. Свернул на луг. Остановился у ивы.

Погас.

Я стояла у окна.

Потом посмотрела на куртку.

Потом — снова в окно.

Там, у ивы, в темноте, где стоял Сестрин сад, — ничего не было видно. Совсем. Только звёзды над лугом и чёрная река.

Ночи на лугу холодные.

Мотя сказала. Лотта сказала.

Он же простудится. Болван.

Я надела куртку.

Свою, тёплую, вязаную — поверх ночной рубашки. А сверху — его. Тёмную. С серебряной полынью.

Она была мне длинна. До колен. Рукава — ниже пальцев.

Она пахла ваксой, чернилами, бергамотом, дымом, пирогами, полынью.

И лавандой.

Я спустилась по лестнице. Девятую ступеньку — перешагнула.

Внизу, в темноте, у двери аптеки, стоял Филя. В ночной рубашке. С подсвечником.

Смотрел на меня.

На куртку.

— Ты куда? — шёпотом спросил Филя.

— Проверять, — сказала я.

Филя подумал.

— Это — подглядывать, — сказал он.

— Это — одно и то же, — сказала я.

И вышла.

Глава 3. В которой я тяну не тот жребий

Он сидел под ивой.

Не у самой ивы — чуть в стороне, на охапке сена, которую, видимо, притащил из Петерова сарая. Спиной к стволу соседнего вяза. Лицом к Сестриному саду. Фонарь — пога-

шенный — стоял рядом на траве.

Я его не видела. Луны не было, только звёзды. Я его учуяла.

Вакса. Полынь. И — без бергамота. Бергамот был на куртке. На мне.

Я остановилась у ограды. Хмель погладил меня по плечу — тихонько, сонно.

Тишина. Сестрин сад спал. Шестнадцать горшков — тёмными кочками. Ростки на грядке — пять — свернули листики. Мотя спала в школе. Груня — под ивой. Я слышала её дыхание. Мандрагоры дышат — тихо, со свистом, как чайник, который вот-вот закипит.

— Ты в моей куртке, — сказал Тим. Из темноты. Не оборачиваясь.

— Ты меня не видишь.

— Я тебя слышу, — сказал Тим. — Ты дышишь, как будто бежала. Ты бежала. От мельницы. По мокрой траве. У тебя подол хлюпает.

Я посмотрела на подол. Подол хлюпал.

— Это сыскное, — сказала я. — Нечестно.

— Это не сыскное, — сказал Тим. — Это — ты. Ты всегда бегаешь. Ты не умеешь ходить. Ты с шести лет бегаешь.

Я молчала.

Потом подошла. Сняла куртку. Протянула в темноту.

— Мотя сказала — тебе будет холодно, — сказала я. — Лотта сказала — тебе будет холодно. Все говорят. Вот.

Пауза.

Куртку не взяли.

— Сиди в ней, — сказал Тим.

— Это твоя.

— Ты в ночной рубашке, — сказал Тим. — Я слышу. Она шуршит не так, как платье. И у тебя голые ноги — ты в домашних туфлях, они шлёпают. — Пауза. — Сиди в ней, Нелли. Или иди домой.

Я подумала.

Надела куртку обратно.

И села. На сено. В двух шагах. Не рядом. В двух.

* * *

Мы сидели молча.

Долго. Звёзды над лугом медленно ползли от Мглистого леса к реке. Колесо мельницы стояло — ночью Ганс-мельник его не запускает. Река шумела. Ива шелестела. Где-то в камышах крякнула утка — сонно, раз. И замолчала.

Пахло — сеном. Росой. Тимом.

Я не думала о том, что он пахнет.

Я — нюхачка. Я нюхаю всё. Это не значит, что специально.

— Мотя стареет, — сказала я. Не знаю зачем. В темноту.

Тим долго молчал.

— Я знаю, — сказал он.

— Она засыпает. Посреди урока. Посреди слова.

— Я знаю.

— Она три месяца сторожила. Одна. Ночами. И никому не сказала. Потому что у меня экзамен.

— Я знаю, — сказал Тим. Третий раз. Тише. — Она мне сказала. Сегодня. Когда я её в школу относил — ну, когда ты её отнесла, а я потом за ней пришёл. Она проснулась. Сказала: «Тимофей. Сторожи. Я больше не могу».

— Тимофей?

— Она так меня зовёт, — сказал Тим. — Когда серьёзно. С десяти лет.

Я не знала.

Двенадцать лет — и не знала.

Тим — это Тимофей. Конечно. Тим — не имя. Тим — то, что кричат через забор.

— Она сказала, — продолжил Тим, — «Тимофей, я старая. Я засыпаю. А они маленькие. Их уносят. А я не могу». — Пауза. — Она плакала, Нелли.

— Мотя не плачет.

— Мандрагоры плачут соком, — сказал Тим. — Белым. Как молоко. Он у неё на листьях был. Я вытер.

Я молчала.

Под ивой Груня во сне что-то прошептала. Кажется — «Шпулька».

— Мы найдём, — сказала я. — Шпульку. И Колечко. И Пяльцы.

— Найдём, — сказал Тим.

Не «я найду».

«Найдём».

Я это заметила.

Я всё замечаю.

* * *

В два часа ночи — колокол на ратуше пробил дважды, далеко, глухо — что-то пискнуло.

Тонко. Высоко. Далеко. Со стороны Мглистого леса. На самом краю слуха. Как комар. Нет — как сверчок, если бы сверчок плакал.

Один раз.

Тим вскочил.

Без звука — я не услышала, как он встал. Только что сидел в двух шагах — и уже стоит. Голова повёрнута к лесу. Рука — на поясе. На рукояти ножа.

Я тоже встала.

Тишина.

Ни звука.

Ни второго писка.

Только утка в камышах. Сонно. Раз.

— Ты слышала? — сказал Тим. Шёпотом.

— Слышала.

— Что это?

Я закрыла глаза. Повернула голову. Как Лотта.

Ветер дул от реки. Не от леса. Я ничего не чуяла. Только — сено, роса, Тим.

— Не знаю, — сказала я. — Ветер не оттуда.

Тим постоял ещё минуту. Неподвижно. Как гончая, которая учуяла зайца и ждёт, где он выскочит.

Потом медленно сел обратно.

— Это — мандрагора, — сказал он.

— Что?

— Этот писк. Это — мандрагора. Маленькая. — Пауза. — Я двенадцать лет Мотю таскал. Я знаю, как они пищат, когда им страшно.

Мне стало холодно. В куртке. Под звёздами.

Где-то там, в Мглистом лесу, в темноте, — пищала от страха маленькая мандрагора.

Шпулька.

Или Колечко.

Или Пяльцы.

А мы сидели на сене и не могли пойти. Потому что в лесу ночью можно ходить неделю и никого не найти. Тётя Агата одна ходила двенадцать лет назад — её плющ поймал. А потом — графа лес вёл. Потому что она его попросила.

Я не тётя Агата.

У меня «зелёная рука» — слабенькая. Лес меня не послушает.

Я села обратно. Не в двух шагах.

В одном.

Тим ничего не сказал.

* * *

Вор не пришёл.

Мы сидели до рассвета. Звёзды погасли. Небо над Мглистым лесом из чёрного стало серым, потом — розовым. Колесо мельницы дрогнуло — Ганс-мельник встал. Бух-плеск. Бух-плеск.

Пять утра.

Петер вышел на крыльцо. С вёдрами — за водой к реке. Увидел нас. На сене. Под вязом. Меня — в Тиминой куртке поверх ночной рубашки. Тима — без куртки, в рубашке, с соломой в вихре.

Петер остановился.

Посмотрел. Долго.

Петер всегда смотрит долго. Он и говорит долго. Он восемь лет назад вообще не мог двух слов подряд сказать, Лотта рассказывала. Теперь может. Но смотрит всё равно — долго.

— Д-доброе утро, — сказал Петер.

Он заикается, только когда волнуется. Значит, разволновался.

— Доброе утро, Петер, — сказала я.

— Мы сторожили, — сказал Тим.

— Я в-вижу, — сказал Петер.

И пошёл к реке. С вёдрами.

А на крыльце, в дверях, с белой тростью — стояла Лотта.

Она повернула голову к нам. К сену. К вязу.

Понюхала.

И улыбнулась.

Ничего не сказала. Просто — улыбнулась.

И ушла в дом.

* * *

Я пришла домой в половине шестого.

Девятую ступеньку не перешагнула. Наступила. Скрипнула.

Филя в своей комнате засмеялся. Он не спал. Он ждал.

Я легла.

Куртку я снять забыла.

Я проспала до одиннадцати. В ней.

* * *

В полдень на площади было как на ярмарке Солнцеворота двенадцать лет назад. Мне потом папа Лукас сказал. Он тогда только приехал в Тихий Брод, «кузеном» тёти Агаты, — и площадь была точно такая же: бочки, флаги, лотки, Брунины пироги, Йоргенов сидр, музыканты на телеге, все в лучших платьях, все толкаются, все кричат.

Только посередине — не помост для конкурса пирогов. А стол.

На столе — шляпа.

Соломенная. Огромная. Дном вверх.

Полная записок.

Вокруг стола — с одной стороны — девицы. Двадцать две. В лучших платьях. С лентами. С распущенными волосами — по обычаю. Бруна вчера сказала: «На жребий — с распущенными. Как на Солнцеворот положено. Чтобы Мать-Зем-

ля видела, что вы не замужем».

Я свою косу расплела. Впервые за четыре года — на людях.

Волосы у меня до пояса. Светлые, почти белые. Тяжёлые. Пахнут лавандой. Мне было в них жарко и неудобно, и они лезли в рот.

С другой стороны стола — парни. Восемнадцать. Тоже в лучшем. Сын Торвальда, Микель, — огромный, в кожаном фартуке, потому что «он кузнец и стесняться нечего». Петеров подмастерье Матиас — длинный, белобрысый, в муке. Писарь с заставы — его зовут Якоб, у него очки и чернила на пальцах. Свен — Гуннаров племянник, конюх, с руками, как лопаты. Сын бургомистра Пима — маленький, кругленький, весь в отца, в бархатном жилете и с цепочкой от часов. Двое с выселок. Трое с хуторов. И ещё — разные.

Тима среди них не было.

Я посмотрела. Я специально посмотрела. Два раза.

Тима не было.

Он стоял у заставы. На краю площади. В куртке — я отдала её утром Филе, Филя отнёс, вернулся и сказал, что «Тим понюхал куртку и покраснел». Тим стоял, скрестив руки на груди. Рядом — Ингрид. С яблоком. С распущенными волосами — медными, до пояса, — и с ножом на поясе. Ингрид тоже тянула.

Тим смотрел на площадь. На стол. На шляпу.

Лицо — спокойное. Как у графа.

Он — на службе. Он — младший дознаватель. Он не тянет. Его нет в шляпе.

Я выдохнула.

Это было — облегчение.

Конечно, облегчение.

Что же ещё.

* * *

— Дорогие жители Тихого Брода! — сказал бургомистр Пим.

Он стоял на бочке. Маленький, кругленький, в бархатном жилете, с толстой цепью на шее. Ему за шестьдесят. Он двадцать восемь лет бургомистр. Он двадцать восемь лет боится жены — Марты Пим. Восемь лет назад, когда весь город влюбился от приворотных духов, он пел ей серенаду под окном. С тех пор, говорит Бруна, он поёт ей каждое воскресенье. Сам. Без духов.

Марта Пим стояла внизу, у бочки. И держала его за полу жилета. Чтобы не упал.

— В этот светлый день, — сказал Пим, — день Солнцеворота, когда солнце стоит выше всего, а Мать-Земля смотрит на нас с особым… особым…

— Вниманием, — подсказала Марта Пим.

— Вниманием! — сказал Пим. — Мы возрождаем древний обычай наших предков! Летний жребий! Который не проводился в Тихом Броде тридцать семь лет! По причине… по ряду причин…

— Потому что ты сказал, что это пережиток, — сказала Бруна. Громко. Из-за стола.

Площадь засмеялась.

Пим покраснел. Ушами.

— Правила! — сказал он поспешно. И развернул свиток. Длинный. Бруна написала. Пим читал. — Правило первое! Летняя пара танцует вместе на каждом празднике! Правило второе! Летняя пара ходит вместе в храм каждое воскресенье! Под руку! Правило третье! Летняя пара помогает друг другу в деле! Он — ей! Она — ему! Правило четвёртое! Летняя пара не принимает ухаживаний от других! До Урожайника! Правило пятое! — Пим откашлялся. — В ночь Урожайника летняя пара либо прыгает через костёр, держась за руки, — и это помолвка с благословения Матери-Земли! — либо сжигает записку в том же костре. И расходится. Без обид!

Площадь загудела.

— А если кто нарушит? — крикнул кто-то из парней. Кажется, Матиас.

Пим посмотрел на свиток. Там, видимо, было написано. Он прочитал. Побледнел.

— Если кто нарушит, — сказал он, — будет иметь дело с Бруной.

Площадь замолчала.

Совсем.

С Бруной никто не хотел иметь дело. Даже граф. Граф

двенадцать лет назад ел её пироги на свадьбе тёти Агаты и потом говорил, что Бруна — «единственный человек в Северном округе, которого он не стал бы допрашивать».

* * *

Тянули по алфавиту.

Бруна вызывала. Девица подходила к столу. Закрывала глаза — правило. Совала руку в шляпу. Вынимала записку. Разворачивала. Читала вслух.

И площадь — ахала. Или хохотала. Или аплодировала.

Грета с выселок вытянула писаря Якоба. Грета весь год смотрела на Матиаса. Линн с выселок весь год смотрела на писаря Якоба. Линн вытянула Матиаса. Они посмотрели друг на друга — Грета и Линн — через весь стол. С ненавистью.

Бруна сказала: «Меняться нельзя».

Площадь хохотала.

Дочка Торвальда вытянула сына Пима. Сын Пима вытер лоб платком. Дочка Торвальда — она на голову выше его и в два раза шире — посмотрела на него сверху вниз и сказала: «Ну. Плясать умеешь?» Сын Пима сказал: «Н-нет». Дочка Торвальда сказала: «Научу». Сын Пима, по-моему, чуть не упал в обморок от счастья.

Ингрид вытянула Свена. Гуннарова племянника. Конюха с руками, как лопаты.

Свен посмотрел на Ингрид. На нож у неё на поясе. Сглотнул.

Ингрид откусила яблоко.

— Хорошо, — сказала она. — Будешь носить мне яблоки. Антоновку. Каждый день.

— Б-буду, — сказал Свен.

Площадь хохотала.

Я стояла и ждала. Я была — на «Н». Предпоследняя. После меня — только Ульрика с хутора, но она «У», а «У» — после «Н».

Записок в шляпе оставалось — две.

Две записки. Два парня. Я посмотрела, кто остался. Один — с хутора, Вильгельм, тихий, рыжий, хромает. Хороший. Лошадей лечит. Второй…

Второй — я не поняла. Все восемнадцать уже вышли. Восемнадцать парней — восемнадцать записок. Девиц — двадцать две. Значит — четыре девицы без пары. Бруна сказала вчера — «кому не хватит — тем на следующий год».

Значит, в шляпе — одна записка. Вильгельм.

А их — две.

— Нелли, — сказала Бруна. — Внучка мэтра Гроссе.

Я вышла к столу.

Площадь затихла. Чуть-чуть. Меня все знают. Я — внучка лекаря, дочка Хельги, помощница Лотты, «маленькая Нелли», которая в шесть лет лазила по заборам за Тимом, а в десять — пробралась в шатёр мадам Мирр под юбкой у Бруны. Меня все знают.

Мне было жарко. Волосы лезли в рот.

Бруна смотрела на меня через стол. Широко, тепло, с мукой на щеке.

— Закрой глаза, деточка, — сказала она.

Я закрыла.

Ну — почти.

Чуть-чуть. Снизу. Над самым носом. Щёлочка.

Я подглядываю. Я всю жизнь подглядываю. Это не значит, что специально.

В щёлочку я видела: шляпа. Солома. Две записки на дне. Обе — свёрнутые трубочкой. Обе — перевязанные красной ниткой. Одинаковые.

Совсем одинаковые.

Я сунула руку. Нащупала первую. Взяла.

Вынула.

Развернула.

На бумажке — Брунин почерк. Крупный. Круглый. С ошибкой — «Полынав» вместо «Полынов».

«Тим Полынав».

* * *

Тишина.

Я стояла у стола и смотрела на бумажку.

Потом подняла глаза.

На площадь. На двадцать две девицы, которые смотрели на меня. На восемнадцать парней. На Бруну за столом. На Пима на бочке.

На заставу. На край площади.

Тим стоял там же. Скрестив руки. Рядом — Ингрид. С яблоком у рта. Не жевала.

Тим смотрел на меня.

Лицо — спокойное. Как у графа.

Только руки — я видела, я всё вижу — медленно разжались. И опустились.

— Ну? — сказала Бруна. Громко. На всю площадь. — Ну, деточка? Читай вслух. Правило.

Я открыла рот.

— Тим, — сказала я. Голос сорвался. Я откашлялась. — Тим Полынов.

Площадь — взорвалась.

Я не знаю, как ещё сказать. Все закричали одновременно. Кто-то засмеялся. Кто-то зааплодировал. Кто-то — кажется, Марта Пим — ахнул. Матиас присвистнул. Свен уронил Ингридино яблоко. Музыканты на телеге, которые не поняли, что случилось, но решили, что что-то хорошее, — грянули польку.

— Его нет в жребии! — закричала я. Сквозь шум. — Бруна! Его нет! Он — на службе! Он не тянет! Его нет среди парней!

— В шляпе — значит, в жребии, — сказала Бруна.

— Но он не вышел! Восемнадцать вышли, а его — нет!

— Значит, он девятнадцатый, — сказала Бруна. Спокойно. — Я плохо считаю. Ганс за меня считал.

Ганс за прилавком пекарни — я видела — спрятался за

мешок с мукой.

— Бруна!

— Правило есть правило, деточка, — сказала Бруна. — Записка — твоя. Вслух прочитано. Мать-Земля слышала. — Она посмотрела на заставу. Через всю площадь. — Господин младший дознаватель! Подойдите!

* * *

Он подошёл.

Медленно. Через площадь. Через толпу. Люди расступались. Молча. Даже музыканты перестали играть польку — на полутакте, со скрипом.

Сапоги — блестят. Куртка — застёгнута на все пуговицы. Вихор — торчит.

Он остановился у стола. С другой стороны. Напротив меня.

Посмотрел на Бруну.

Посмотрел на шляпу.

Посмотрел на записку у меня в руке. На «Полынав».

Посмотрел на меня.

На мои волосы — распущенные. До пояса. Белые, тяжёлые, пахнущие лавандой.

Он четыре года не видел меня с распущенными волосами. Нет — он никогда не видел. Я в четырнадцать заплела одну косу. До этого были две. Распущенными — никогда. На людях — никогда.

Он смотрел на мои волосы.

Долго.

Уши у него — горели. Как фонари на ратуше в праздник.

— Господин младший дознаватель, — сказала Бруна. — Вы протестуете?

Тим молчал.

Площадь ждала.

Я ждала.

Я была уверена, что он скажет — «Да, протестую. Я на службе. Я не тянул. Это ошибка». Он скажет — и всё кончится. Бруна поворчит. Записку сожгут. Меня пересадят на следующий год.

И это было бы правильно.

Это было бы — облегчение.

— Нет, — сказал Тим.

Я подняла голову.

— Не протестую, — сказал Тим. Ровно. Спокойно. Как граф говорит «дело закрыто». — Правила есть правила.

Он протянул руку. Через стол. Через шляпу.

Ладонью вверх.

Белый шрам — через всю ладонь.

— Нелли, — сказал он. — Первый танец.

* * *

Музыканты — опомнились. Грянули. Не польку. Что-то медленное. Скрипка и гармошка. Старое. Деревенское. «Ивушку». Под неё плясали ещё при Бруниной бабушке.

Я не взяла его руку.

Я обошла стол. Сама. Встала перед ним. Подняла подбородок.

— Я не умею танцевать «Ивушку», — сказала я.

— Умеешь, — сказал Тим. — Я видел. На свадьбе Лотты. Тебе было десять. Ты танцевала с Олафом. Он на костыле. Ты — вокруг него.

— Это было восемь лет назад.

— Ты не разучилась, — сказал Тим.

И взял меня за руку. Сам.

Его ладонь была тёплая. Сухая. Шершавая. Шрам — выпуклый, как нитка, — под моими пальцами.

Другую руку он положил мне на талию.

И повёл.

* * *

Он танцевал — хорошо.

Это было первое, что меня возмутило.

Четыре года назад Тим не танцевал вообще. Он стоял у костра с графом и смотрел в огонь. Он говорил, что танцы — «для девчонок и Лукаса». Он один раз на свадьбе Лотты попробовал — с Ядей, ей было три, — и упал в кадку с мочёными яблоками.

А теперь — вёл.

Легко. Уверенно. Как будто всю жизнь только этим и занимался. Поворот. Шаг. Ещё поворот. Его рука на моей талии — ровно там, где надо. Ни выше, ни ниже. Пальцы — не сжимают, не давят. Держат.

Столица его научила.

Я ненавижу столицу.

— Где ты научился? — сказала я. Сквозь зубы. На повороте.

— В Сольмаре, — сказал Тим. — В школе сыска. Был такой предмет.

— Танцы? В школе сыска?

— «Поведение в высшем обществе», — сказал Тим. — Сыщик должен уметь попасть на бал. Если там подозреваемый.

— И ты попадал?

— Трижды.

— И плясал?

— С графиней Ленц, — сказал Тим. — Ей семьдесят два. Она наступила мне на ногу. Нарочно. Она думала, я жених её внучки.

Я чуть не засмеялась.

Чуть.

Не засмеялась.

Мы кружились. Вокруг нас кружились другие пары. Грета с писарем Якобом — Грета смотрела через его плечо на Матиаса. Матиас с Линн — Линн смотрела через его плечо на Якоба. Дочка Торвальда — с сыном Пима, буквально носила его по кругу. Ингрид — со Свеном. Свен наступал ей на ноги. Ингрид каждый раз говорила «ой» и улыбалась. Насмешливо.

Вся площадь смотрела на нас.

Я это чувствовала. Затылком. Лопатками. Как Лотта чувствует, когда на неё смотрят, — «как будто тёплым дышат».

Мама у пекарни. Папа Лукас рядом с ней — рыжий, весь в улыбке. Дед — у аптеки, с очками на лбу. Филя — на бочке, рядом с Пимом. Подглядывает.

Тётя Агата с графом — у школьной телеги. Тётя Агата держала графа под руку и что-то ему шептала. Граф кивал. Не улыбаясь. Но у графа улыбка всегда — в глазах.

Лотта с Петером — у колодца. Лотта повернула голову к нам. Нюхала.

Улыбалась.

Все — улыбались.

А я танцевала «Ивушку» с Тимом Полыновым. С распущенными волосами. С запиской в кулаке. С горящими ушами.

И у меня было только одно желание.

* * *

На третьем повороте — там, где в «Ивушке» надо шагнуть вперёд и чуть-чуть присесть, — я шагнула.

Прямо на его сапог.

На левый. На носок. На блестящий, зеркальный, начищенный до сияния носок.

Всем весом.

Тим остановился.

Музыка — нет. Пары вокруг — нет. А мы — да.

Он опустил глаза.

На сапоге — на зеркальном носке — был след. Пыльный. Серый. Отпечаток моей туфли. С каблучком. Чёткий, как печать на документе.

Тим смотрел на него.

Долго.

Потом поднял глаза. На меня.

— Ты нарочно, — сказал он.

— Это называется — проверка, — сказала я.

Пауза.

Уголок рта. Справа. Дрогнул.

На полволоска.

Нет — на волосок. Целый.

— Проверка чего? — спросил Тим.

— Что ты живой, — сказала я. — А не столичный.

Тим смотрел на меня.

Карие глаза. Зелёные крапинки. На солнце.

Он открыл рот.

Я не знаю, что он хотел сказать. Я никогда этого не узнала. Потому что в этот момент над площадью — над музыкой, над топотом, над смехом — с той стороны реки, с заречного луга, где паслось городское стадо, — донёсся звук.

Тонкий. Высокий. Пронзительный.

Как сверчок, если бы сверчок плакал.

Только — много.

Не один. Не два. Хор.

Писк. Визг. Плач.

Секунду. Две. Три.

И — тишина.

* * *

Музыка оборвалась. Опять со скрипом.

Площадь замерла.

Все повернулись к реке. К мосту. К заречному лугу.

Там, на лугу — на зелёном склоне за рекой, где каждое лето пасётся городское стадо, где пастух Йоханнес сидит под дубом с дудочкой, где я в детстве собирала клевер для Моти, — там лежали коровы.

Все.

Двадцать. Тридцать. Сорок.

Пёстрые. Рыжие. Чёрные. Белые.

Лежали на боку. Ногами в сторону. Как будто кто-то сдул их одним дыханием.

Пастух Йоханнес лежал под дубом. С дудочкой.

Собака пастуха — тоже.

Тишина.

Только где-то далеко — за лугом, у самого края Мглистого леса — что-то пискнуло. Последний раз. Тоненько.

И замолчало.

Я стояла посреди площади. С распущенными волосами. С запиской в кулаке.

Тим рядом со мной — уже не стоял.

Он бежал. Через площадь. К мосту. Расталкивая людей.

Сапоги — блестели. На левом — мой след.

На бегу он обернулся. На секунду. Через плечо.

На меня.

— Нелли! — крикнул он. — Правило третье! Ты помогаешь мне в деле! Бегом!

И я побежала.

С распущенными волосами. В праздничном платье. С запиской «Тим Полынав» в кулаке.

Как с шести лет.

Я не умею ходить.

Я всегда бегаю.

Глава 4.
В которой у меня появляется сыскной напарник

Коровы были живые.

Это первое, что я поняла, когда добежала. Ну — когда доковыляла. Праздничные туфли на лугу — это не туфли, это наказание. Я их сняла на мосту и бежала босиком, с туфлями в одной руке и запиской в другой. Волосы лезли в глаза. Подол цеплялся за клевер.

Тим был уже там. На коленях. Около ближайшей коровы — рыжей, с белым пятном на лбу, это Звёздочка, Торвальдова. Он держал два пальца у неё на шее. Под челюстью.

— Дышит, — сказал он. Не оборачиваясь. — Сердце ровное. Медленное. Как во сне.

Я опустилась на колени рядом. Звёздочка лежала на бо-

ку, вытянув ноги, с закрытыми глазами. Бок поднимался и опускался. Медленно. Ровно. Из ноздрей — тёплый пар.

Спала.

Сорок коров на лугу — спали.

Пастух Йоханнес под дубом — спал. С дудочкой на груди. Храпел.

Собака — спала. Дёргала лапами. Ей что-то снилось.

— Как от Моти, — сказала я. — Когда она визжит. Падаешь — и спишь. Потом встаёшь, голова гудит.

— Да, — сказал Тим.

— Но Мотя — в школе. Она спит. Я её сама утром… — Я замолчала. — Это не Мотя.

— Нет, — сказал Тим.

— Это — много, — сказала я. — Ты слышал. Не одна. Много. Хором.

Тим посмотрел на меня.

Потом — на край луга. Туда, где луг упирался в Мглистый лес. Где начинались первые ели — тёмные, высокие, с серыми бородами лишайника на ветках.

— Нюхай, — сказал он.

* * *

Я нюхала.

Я встала. Отряхнула коленки. Убрала волосы за уши — они сразу выпали обратно. Тим молча полез в карман, достал что-то и протянул мне.

Шнурок. Кожаный. Чёрный. От сапога, что ли. Запасной.

Я посмотрела на шнурок. На него.

— Завяжи, — сказал Тим. — Ты так не учуешь. У тебя волосы в носу.

Я завязала. Хвост. Кривой, наспех. Шнурок пах ваксой.

Пошла к лесу.

Медленно. Против ветра. Ветер теперь дул от леса — сменился, пока мы бежали. Повезло.

Клевер. Тимофеевка. Коровы — тёплый, сладкий, молочный запах. Навоз — свежий. Пастушья дудочка — бузина. Собака — мокрая шерсть, псина.

Я шла. Тим — за мной. В трёх шагах. Не мешал.

Ближе к лесу коровий запах стал слабее. Лес — сильнее. Ель. Смола. Мох. Сырость. Грибы — рано ещё для грибов, но пахнет — подосиновики будут через неделю. Муравейник — справа, большой, кислый.

И — у самой опушки, под первой елью, — поляна.

Маленькая. Шага три в поперечнике. Трава примята. Кругом. Как будто тут кто-то стоял. Долго. Переступал с ноги на ногу.

Я остановилась на краю.

— Не входи, — сказал Тим. Сзади.

— Я не вхожу.

— Ты уже наклонилась.

— Наклониться — не войти.

Я опустилась на корточки. На самом краю. И закрыла глаза.

Не подглядывала.

Почти.

* * *

Дёготь.

Берёзовый. Тот же. Сапоги. Здесь — сильно. Он стоял долго. Дёготь впитался в траву.

Ваниль. Южная. Дорогая. Тоже здесь. Слабее, чем дёготь, но — есть.

Войлок. Мокрый. Овечий.

И — мандрагоры.

Я их узнала сразу. Двенадцать лет нюхаю. Молочко. Горечь. Свежий огурец. Так пахнет Мотя, когда её только что полили. Так пахнет Груня. Так пахнет Шпулька — пахла, вчера, в грядке.

Здесь — много. Не одна. Не две. Пять? Семь? Запахи путались. Смешивались. Одни — посильнее, другие — совсем слабые, детские.

И все — кислые.

Мандрагоры не пахнут кислым. Никогда. Только когда им плохо. Когда Мотя три года назад болела — у неё завелась корневая гниль, тётя Агата её месяц выхаживала, — она пахла так. Кислым молоком. Страхом.

Эти — пахли страхом.

Я открыла глаза.

— Здесь были мандрагоры, — сказала я. Голос у меня сел. — Много. Пять или больше. Маленькие. В клетках — я не

знаю, в чём, но в чём-то, и им было страшно. Он их принёс сюда. Поставил. И стоял. Долго. А потом…

Я не договорила.

— А потом они завизжали, — сказал Тим. — Все сразу. На стадо. Как по команде.

— Мандрагоры не визжат по команде, — сказала я. — Мотя визжит, когда хочет. Когда злится. Её никто не может заставить. Ни тётя Агата. Ни граф. Никто.

— Мотя — взрослая, — сказал Тим. — Ей пятьдесят. Её никто никогда не учил визжать по команде. — Пауза. — А маленьких — можно научить.

Я смотрела на него.

«Потому что их легче научить».

Он сказал это вчера. Над ямкой. Я не поняла.

Теперь — поняла.

— Кто-то учит их, — сказала я. — Шпульку. Колечко. Пяльцы. Визжать. Когда скажут. — Голос у меня задрожал. — Это… это как собак учат. Палкой. Да? Страхом.

Тим молчал.

Потом присел рядом со мной на корточки. Сапоги скрипнули. На левом — мой след. Пыльный. Он его не вытер.

— Ещё что-нибудь, — сказал он. Тихо. — Нелли. Что-нибудь ещё.

Я снова закрыла глаза.

Дёготь. Ваниль. Войлок. Мандрагоры. Страх.

И — под всем этим — дым.

Не печной. Не костровой. Не табачный. Особый. Сладковатый, горьковатый, с привкусом воска и тлеющей гнилушки. Так пахнет… так пахнет у Олафа в саду. У Олафа ульи. Он, когда к ним лезет, — разжигает в такой жестяной коробочке с мехами труху, и дымит на пчёл, чтобы они не кусались.

— Дымарь, — сказала я. — Пасечный. Гнилушка и воск. И мёд. — Я открыла глаза. — У него на одежде — дым от дымаря. Он был на пасеке. Недавно. Или он — пасечник.

Тим что-то быстро записал в блокнот.

— И сургуч, — сказала я. — Опять. Красный. С киноварью. Совсем чуть-чуть. Здесь — на траве. Как будто что-то запечатанное лежало. Письмо. Или — свёрток.

Тим записал.

Поднял голову. Посмотрел на меня. Долго.

— Ты стала лучше, — сказал он. Опять.

— Ты это уже говорил.

— Я повторяю, — сказал Тим, — потому что это — правда.

Я не знала, что с этим делать.

Я встала. Отряхнула коленки.

— Где у нас в округе пасеки? — спросила я.

— Олафова, — сказал Тим. — У храма. Шесть ульев. — Пауза. — И старая, в Мглистом лесу. На Черничной вырубке. Брошенная. Пасечник умер лет пятнадцать назад.

— Откуда ты знаешь?

— Я в девять лет там мёд воровал, — сказал Тим. — Пасечник в меня башмаком кинул.

Я засмеялась.

Сама не поняла как.

Тим посмотрел на меня. На мой смех.

Уголок рта. Справа.

* * *

Коровы проснулись через час.

Сами. Одна за другой. Вставали, мотали головами, мычали — обиженно, недоумённо, — и шли пить к реке. Как будто ничего не случилось.

Пастух Йоханнес проснулся последним. Сел под дубом. Посмотрел на дудочку. На нас.

— Я задремал, — сказал он. Виновато.

— Что вы слышали? — спросил Тим. — Перед тем как задремать.

Йоханнес подумал.

— Как будто, — сказал он медленно, — как будто кто-то мне в уши — иголками. Тыщей иголок. Тоненько-тоненько. — Он потёр ухо. — А потом — темно. Как в погребе.

— Видели кого-нибудь? У леса?

Йоханнес подумал ещё.

— Нет, — сказал он. — Нет. Никого. — Пауза. — Только запах был. Перед тем. Сладкий такой. Как от булки с ванилью. Я ещё подумал — откуда тут булки? Бруна вроде не пекла.

Тим записал.

К нам с моста шли люди. Много. Весь город, кажется. Впереди — граф. Высокий, тёмный, с сединой на висках, в простой куртке без всяких нашивок. Он не носит нашивок. Он говорит, что его и так все знают. За ним — папа Лукас. За ним — Гуннар со стражей. За ними — все.

Граф подошёл. Посмотрел на коров, которые шли к реке. На Йоханнеса. На поляну у опушки.

На Тима.

На меня. На мои босые ноги, на праздничное платье в травяных пятнах, на волосы, завязанные чёрным шнурком.

Ничего не сказал.

Граф никогда ничего не говорит сразу. Сначала смотрит.

— Докладывай, — сказал он Тиму.

Тим доложил.

Коротко. Сухо. Ровно. Как граф. Мандрагоры — пять или больше. Маленькие. В клетках. Визг — по команде. Запахи: дёготь, ваниль, войлок, дым от дымаря, сургуч. Предположительно — старая пасека на Черничной вырубке. Свидетель — пастух, слышал «иголки», учуял ваниль.

— Кто учуял? — спросил граф.

— Нелли, — сказал Тим.

Граф повернулся ко мне.

— Нелли, — сказал граф. И помолчал. — Дым от дымаря — под дёгтем?

— Под дёгтем и мандрагорами, — сказала я. — Слабо. Но

— есть.

Граф смотрел на меня.

Граф — это человек, который слышит ложь звоном в ушах. Двенадцать лет назад, когда я была маленькая, мне казалось, что он может услышать всё. Даже то, что я думаю. Я при нём боялась думать.

Сейчас тоже.

— Хорошо, — сказал граф. — Очень хорошо.

И отвернулся. К лесу.

Папа Лукас у него за спиной — показал мне большой палец. И подмигнул.

* * *

— Правило третье, — сказал Тим.

Мы стояли у моста. Вечером. Коровы — в хлеву. Граф с Гуннаром и стражей — уехали на Черничную вырубку. Тима не взяли. Граф сказал — «ты остаёшься. На заставе. С Ингрид. Сторожи сад».

Тим не спорил. Но я видела — у него ходили желваки.

— Что — правило третье? — спросила я.

— Летняя пара помогает друг другу в деле, — сказал Тим. — Он — ей. Она — ему.

— Я знаю. Пим читал.

— Ты помогаешь мне, — сказал Тим. — Нюхаешь. Мандрагоры, вор, пасека — это теперь дело заставы. Граф сказал — моё. Мне нужен нос. Лотта — королевский нюхач, у неё десять дел по всему округу, её граф каждую неделю куда-то

посылает. — Пауза. — Мне нужна ты.

Я посмотрела на него.

«Мне нужна ты».

Он сказал это — как граф говорит «мне нужен отчёт к утру».

Сухо.

Деловито.

Без ушей.

У него уши — не покраснели.

Значит — правда. Ему нужен нос. Мой нос.

Ничего больше.

— А ты? — спросила я. — Ты — мне?

Тим посмотрел на меня.

— У тебя экзамен, — сказал он. — В сентябре. Королевский. Тебе нужно тренироваться. Каждый день. На живых людях. — Пауза. — Тренируйся на мне.

— На тебе?

— Каждое утро, — сказал Тим. — Я прихожу. Ты нюхаешь. Говоришь — где я был, что ел, с кем говорил, что держал в руках. Я записываю. Проверяем. — Он помолчал. — Так экзамен и сдают. Я спрашивал в Сольмаре. У тех двоих, кто сдал. Им давали чужих людей. Незнакомых. И надо было рассказать про них всё. По запаху.

Я молчала.

Я не знала, что он спрашивал.

В Сольмаре. У тех двоих. Про экзамен.

Когда?

— Когда? — спросила я.

— Что — когда?

— Когда ты спрашивал? Про экзамен?

Тим помолчал.

— Неважно, — сказал он.

Уши.

Покраснели.

* * *

Мы договорились.

Это было похоже на договор тёти Агаты с графом. Про который все в Тихом Броде знают наизусть — «Пункт четвёртый: никаких поцелуев (кроме случаев, когда этого требует публика)». Тётя Агата говорит, что подписала его, скрестив пальцы под столом. Граф говорит, что слышал звон.

У нас не было бумаги. Мы просто стояли у моста и говорили.

Я сказала: «Пункт первый. Я нюхаю твоё дело. Ты не мешаешь. Не говоришь "не входи", "не трогай", "отойди"».

Тим сказал: «Пункт первый. Ты нюхаешь моё дело. Ты не лезешь первой. Туда, где опасно».

Я сказала: «Это — не пункт. Это — запрет».

Тим сказал: «Это — пункт».

Мы смотрели друг на друга. Через три шага.

Я сказала: «Пункт второй. Ты приходишь каждое утро. В семь. Я тебя нюхаю. Ты не врёшь».

Тим сказал: «Я не вру».

Я сказала: «Ты врёшь ушами».

Тим замолчал.

Я сказала: «Пункт третий. Мы танцуем на праздниках. Ходим в храм. Как положено. Чтобы Бруна не трогала».

Тим сказал: «Хорошо».

Я сказала: «Пункт четвёртый. На Урожайник — сжигаем записку. Без обид».

Тишина.

Река шумела под мостом.

Тим смотрел на меня.

Долго.

— Хорошо, — сказал он. — Без обид.

Уши — не покраснели.

Совсем.

Значит — правда.

Он хочет сжечь.

Я кивнула.

Повернулась.

И пошла домой. Не бегом. Пешком. Медленно.

Впервые за двенадцать лет — пешком.

* * *

В полночь я снова стояла у круглого окна.

В ночной рубашке. С распущенными волосами — я их так и не заплела. Шнурок от сапога лежал на подоконнике. Рядом с пробирками.

Я его не отдала.

Забыла.

По мосту шёл человек с фонарём. Высокий. В куртке — теперь в куртке.

Шёл к мельнице.

Я смотрела.

Колокол на ратуше пробил полночь.

Внизу, у двери аптеки, — никакого Фили. Филя спал. Я проверила.

Я надела вязаную кофту. Сверху — платок. Туфли — уличные.

Спустилась. Девятую ступеньку — перешагнула.

Пункт первый. Я нюхаю его дело.

Это — его дело.

* * *

Он сидел там же. Под вязом. На сене.

Только сена было больше. И рядом — двое. Стражники. С полынью во рту — я учуяла. Один — Свен, Гуннаров племянник. Второй — Йорген-младший, сын трактирщика. Они сидели у ограды, по обе стороны калитки, с фонарями и с дубинками.

Свен увидел меня. Кивнул. Ничего не сказал — у него полынь во рту.

Я подошла к вязу.

— Ты пришла, — сказал Тим. Не оборачиваясь.

— Пункт первый, — сказала я. — Я нюхаю твоё дело.

— Пункт первый, — сказал Тим, — ты не лезешь первой.

— Я не лезу. Я сижу.

И села. На сено. В одном шаге.

Тим ничего не сказал.

Только — подвинулся. Чуть-чуть. Чтобы мне было место. Под вязом. Где не дуло.

* * *

Вор пришёл в три.

С туманом.

Туман поднялся от реки — как всегда летом под утро, низкий, белый, по колено. Пополз по лугу. Затопил Сестрин сад. Горшки торчали из него, как кочки на болоте.

Свен у калитки задремал. Я слышала — он засопел. Йорген-младший — нет. Он ходил вдоль ограды. С фонарём.

А потом я учуяла.

Ваниль.

Сначала — чуть-чуть. Как будто где-то далеко кто-то открыл банку с южной ванилью. Потом — сильнее. Ближе. С той стороны ограды. С той, где луг упирается в ивняк у реки. Где нет калитки. Где ограда ниже — Торвальд не доделал, у него железо кончилось.

Я схватила Тима за рукав.

Он не спал. Он уже повернул голову. Туда же.

— Ваниль, — шепнула я. — Там. У ивняка. Дёготь. Войлок.

Тим кивнул.

Встал. Беззвучно.

Нож — в руке. Я не видела, как он его достал.

— Сиди, — шепнул он.

— Пункт первый…

— Сиди, Нелли.

И пошёл. В туман. Вдоль ограды. Пригнувшись. Сапоги — не скрипели. Я не знаю, как он это делает. Эти сапоги скрипят, когда он садится на корточки. А когда крадётся — нет.

Столица.

Я сидела.

Секунду.

Две.

Ваниль усилилась. И к ней прибавилось — мандрагоры. Молочко. Горечь. Огурец. Кислое.

Нет. Не кислое. Свежее. Здешнее. Это — наши. Из грядки. Ростки.

Кто-то был у грядки.

Не у ивняка. Тим пошёл к ивняку. А ваниль — уже у грядки. С другой стороны. Обошёл. Пока Тим крался.

Я вскочила.

— Тим! — закричала я. — Не там! Грядка!

И побежала.

Через ограду. Не через калитку — прямо через ограду, она мне по пояс, я через неё с шести лет лазаю. Хмель схватил меня за подол — я дёрнула, подол треснул. Через горш-

ки. Через туман.

К грядке.

* * *

Над грядкой стоял человек.

Я видела его в тумане — тенью. Невысокий. В чём-то длинном — плащ? Балахон? С капюшоном. Лица не видно. На руке — рукавица. Толстая, серая, войлочная.

В рукавице — совок.

Он уже наклонился. Уже вставил совок в землю. Рядом с Пуговкой.

Пуговка пищала. Тоненько. Как цыплёнок.

Я не думала.

Я прыгнула.

Не на него. На грядку. Животом. Прямо на Пуговку. Накрыла её руками. Ладонями. «Зелёной рукой».

Пуговка под моими ладонями — обожгла. Как крапива. Свежая мандрагора всегда жжётся, если её трогать без рукавицы.

Мне было всё равно.

— Не отдам, — сказала я в землю. — Не отдам. Не отдам.

Человек надо мной замер.

Я чуяла его. Совсем близко. Ваниль — густая, как сироп. Дёготь — от сапог, прямо у моего лица. Войлок — рукавица у моего плеча. Дым от дымаря — от плаща.

И — сургуч.

И — ещё что-то. Совсем слабо. Под всем этим. Под вани-

лью.

Знакомое.

Очень-очень знакомое.

Я не успела понять — что.

— Нелли! — Тим. Сзади. Из тумана. Бегом.

Человек надо мной дёрнулся. Совок выскользнул из земли. Человек отпрыгнул — легко, быстро, не по-стариковски. Развернулся.

И побежал.

Через ограду — там, где Торвальд не доделал. В ивняк. К реке.

Тим промчался мимо меня. Мимо грядки. За ним.

— Свен! — крикнул он на бегу. — Йорген! К реке! Отрезайте!

Свен проснулся. Вскочил. Упал — запутался в собственной дубинке. Йорген-младший побежал с фонарём. Фонарь болтался. Свет метался по туману.

Я лежала на грядке. Животом. С Пуговкой под ладонями.

Пуговка перестала пищать.

Она дрожала. Мелко-мелко. Как цыплёнок под наседкой.

И — я почувствовала — прижалась. К моим ладоням. Своими крошечными листиками. Как Шпулька когда-то — нет, как Пуговка тогда, в одиннадцать лет, когда я плакала, а она приползла ко мне на колени.

— Тихо, — сказала я. — Тихо. Я здесь.

Руки жгло. Сильно.

Мне было всё равно.

* * *

Тим вернулся через полчаса.

Один. Мокрый по пояс. В тине. Без фонаря — фонарь утопил Йорген-младший.

— Ушёл, — сказал он. Глухо. — Лодка. У него в ивняке была лодка. Он прыгнул — и вниз по реке. В тумане. Я не видел, куда.

Он подошёл к грядке. Посмотрел на меня.

Я сидела рядом с Пуговкой. На коленях. Держала ладони над ней — не касаясь, но близко. Чтобы она чувствовала, что я здесь.

Тим посмотрел на мои ладони.

Красные. Вздувшиеся. В волдырях. Как будто я час держала их в крапиве.

Он опустился на колени. Рядом. В тину, в землю, в мокрую траву. Сапоги — зеркальные — погрузились в грязь.

Он не заметил.

Он взял мои руки. Обе. В свои. Осторожно. Перевернул ладонями вверх. Посмотрел.

— Ты её трогала, — сказал он. Голосом, которого я у него никогда не слышала. Ни в детстве. Ни сейчас. — Без рукавицы. Свежую.

— Он её уносил.

— Нелли. Ты её трогала без рукавицы.

— Он её уносил, Тим!

Он смотрел на мои ладони.

Потом — молча — полез в карман. Достал мешочек. Полынь. Высыпал на ладонь. Плюнул. Растёр в кашицу. Пальцами.

И стал мазать мне ладони.

Осторожно. Медленно. Каждый волдырь.

Полынь жгла — сильнее мандрагоры. Я зашипела.

— Терпи, — сказал Тим. — Мотя меня так мазала. Когда мне было десять. Когда я её первый раз из горшка выронил — и поймал. Голыми руками. — Он не поднимал глаз. — Неделю ложку держать не мог.

— Я не знала.

— Никто не знал, — сказал Тим. — Мотя сказала — не говори Агате. Агата расстроится. — Пауза. — Мотя меня ночью мазала. Сама. Листьями. Я руки к горшку подносил — она мазала.

Я смотрела на его склонённую голову. На вихор. На мокрые волосы, в которых застряла тина.

Он мазал мне ладони полынью.

Как Мотя — ему. Тринадцать лет назад.

— Тим, — сказала я.

— М?

— Он пах чем-то знакомым.

Тим поднял голову.

— Кто?

— Вор. Под ванилью. Под дёгтем. Совсем чуть-чуть. Что-

то… — Я закрыла глаза. Попробовала вспомнить. — Что-то, что я знаю. Давно. С детства. Но не могу вспомнить — что.

Тим смотрел на меня.

— Вспомнишь — скажи, — сказал он.

— Скажу.

Он доделал. Вытер руки о траву. Встал.

Сапоги — в грязи. По колено. Мой пыльный след на левом — исчез. Под тиной.

Он посмотрел на сапоги.

Я посмотрела на сапоги.

— Ты их месяц будешь чистить, — сказала я.

— Неделю, — сказал Тим.

— Ты раньше босиком ходил.

Тим посмотрел на меня.

— Раньше, — сказал он, — мне было нечего беречь.

И отвернулся. К Свену, который всё ещё распутывался с дубинкой.

* * *

А на грядке — у моих колен — Пуговка вдруг вытянулась.

Совсем чуть-чуть. На полпальца. Как будто за одну ночь выросла.

И развернула листики.

Пять крошечных листиков. Светло-зелёных.

И один — шестой — новый.

Он раскрылся прямо у меня на глазах. Медленно. Как будто кто-то разворачивал записку.

Я смотрела на него.

Он был — не зелёный.

Он был — синий.

Как платье, в котором я танцевала у костра четыре года назад.

Глава 5.
Тим

.

Сто пятьдесят два письма

Сапоги я чистил до четырёх утра.

Не неделю. Одну ночь. Я сказал «неделю», чтобы она не думала, что я буду чистить всю ночь. Она бы подумала, что я — дурак. Что столичный. Что сапоги мне дороже мандрагоры.

Это неправда.

Но чистить всё равно надо.

Тина. Глина. Речной песок в швах. Дёготь — не мой, чужой, с травы у грядки, я в него вляпался коленом. Я сидел на крыльце заставы, на нижней ступеньке, с банкой ваксы, тряпкой и щёткой, и чистил. При свете фонаря. Ингрид спала наверху. Писарь Якоб спал за столом в конторе, уронив голову на опись изъятого. Река шумела.

Чистить сапоги — это как нюхать для Нелли. Пока чистишь — думаешь. Руки работают, голова свободна.

Я думал о её ладонях.

Красные. Вздувшиеся. В волдырях. Она держала их над Пуговкой. Не касаясь. Близко. Чтобы та чувствовала, что она рядом.

Она не плакала. Она сказала — «он её уносил, Тим». Как будто это всё объясняет.

Это — всё объясняет.

Это — Нелли.

Я тёр левый сапог. Тот, на котором был её след. Пыльный. С каблучком. Она наступила нарочно. Сказала — «проверка». Что я живой. А не столичный.

След ушёл под тину. Теперь — под ваксу.

Мне было жалко.

Это глупо. Это — след от туфли на сапоге. Его надо было стереть ещё на площади.

Я не стёр.

* * *

Я не помню, откуда я взялся.

Это — правда. Я не помню мать. Не помню отца. Не помню, где родился. Первое, что помню, — Глинск. Приют при храме. Каменный пол. Холодно. Сорок мальчишек. Сестра Берта с розгой.

Мне было, наверное, четыре.

Потом — я сбежал. В шесть. Не помню как. Помню — телега с сеном. Ехала на север. Я в ней спал. Проснулся — Тихий Брод.

Три года я жил, как живут такие, как я. Где придётся. У

Бруны на сеновале — когда она не замечала. Потом — замечала, но делала вид, что нет. Под мостом — летом. В конюшне «Хромого гуся» — зимой. Йорген ругался, но не выгонял. Бегал с поручениями. Воровал яблоки. Мёд у пасечника на Черничной вырубке — тот кинул в меня башмаком, я до сих пор помню, каким. Левым. С заплаткой.

Мне было десять, когда приехала Агата.

Она поймала меня в своём саду. На яблоне. Я думал — выдерет. Или позовёт стражу. А она посмотрела на меня снизу вверх и сказала: «Бери. Только не зелёные. От зелёных живот болит». И наняла. За медяк в день и обед.

Медяк я до сих пор храню. Первый. С дыркой — я его на шнурок повесил. Он у меня в ящике. Вместе с письмами.

Через неделю Агата сунула мне в руки мешок. Тяжёлый. Холщовый. Из мешка на меня смотрели две крошечные чёрные бусинки.

«Это Мотя, — сказала Агата. — Неси осторожно. Если уронишь — она завизжит. Если завизжит — все упадут».

Я понёс.

Уронил через три шага. Поймал — голыми руками. Мотя не завизжала. Она посмотрела на меня из мешка, на мои ладони, которые сразу пошли волдырями, — и сказала: «Болван». Скрипуче.

И я понял, что меня приняли.

* * *

Нелли мне было — никто.

Сначала.

Ей было шесть. Она была внучкой мэтра Гроссе. Того, который продавал «универсальную микстуру» и гонял меня от аптеки. Она болела горловой жабой. Агата её вылечила ночью. Потом Нелли пришла с дедом к Агате — благодарить. Розовощёкая. С двумя косичками. В синем платьице. С букетиком ромашек.

Ромашки она отдала Агате.

А мне — показала язык.

Через неделю она начала за мной ходить.

В двадцати шагах. За заборами. Прячась за деревьями, за бочками, за углами. Думая, что я не вижу.

Я видел.

Все видели. Бруна видела. Гуннар видел. Олаф на костыле видел. Даже Мотя из мешка видела. Мотя говорила: «Тимофей, за тобой опять ходит маленькая Гроссе. Как корова за берёзой».

Это не я придумал. Это Мотя.

Я потом повторял. Нелли злилась. Я повторял ещё.

Она ходила за мной шесть лет.

Таскала мне пирожки. Хельгины, с капустой. Совала в карман, пока я не видел. Я видел. Я делал вид, что не вижу. Потому что, если бы я сказал «спасибо», она бы перестала. Она такая. Ей надо, чтобы — тайком.

Она лазила за мной на заборы. На крышу школы. На иву у мельницы. Падала. Сбивала коленки. Не плакала. Никогда

не плакала. Говорила: «Это называется — проверка».

Она подглядывала. Из-под Мотиной повязки. Из-за угла. Из окна. За мной. За Агатой. За графом. За всеми.

Она всё видела.

А я…

Я был сирота, которого Агата подобрала на яблоне.

А она — внучка Гроссе. Дочка Хельги. Падчерица Лукаса. Племянница Ильзы. Ученица Лотты. Любимица Моти. У неё было столько семьи, что не помещалось за столом. Я знаю. Я иногда ужинал у них. Хельга сажала меня с краю, на табуретку. Табуретка шаталась. Мэтр Гроссе ворчал. Лукас шутил. Ильза взрывала что-нибудь на кухне. А Нелли сидела напротив. И смотрела. И таскала мне под столом котлеты.

У меня не было ничего.

Даже фамилии.

* * *

Урожайник. Четыре года назад.

Мне было восемнадцать.

Граф за неделю до этого вызвал меня в кабинет. Сказал: «В столичной школе сыска есть место. Внеочередное. Я могу тебя рекомендовать. Четыре года. Потом — служба. Если хочешь».

Я хотел.

Я хотел этого с двенадцати. С тех пор как бегал за графом по лесу, когда искали Ильзу. С тех пор как держал Мотю в седельной сумке, когда искали Лотту. Я хотел быть — как

он. Человеком, которого все знают. У которого есть имя.

Но я сказал графу: «Я подумаю».

Граф посмотрел на меня. Долго.

Граф слышит ложь звоном. Я тогда не врал. Я правда собирался думать.

О Моте — кто её будет носить.

Об Агате — кто будет помогать в школе.

О…

Я не знал, о ком ещё. Тогда — не знал.

А на Урожайник — узнал.

* * *

Костёр. Площадь. Все пляшут.

Я стою с графом и Лукасом. Кружка сидра. Смотрю в огонь. Думаю о столице.

И тут — она.

Обходит костёр. Встаёт рядом.

На ней синее платье. Новое. Хельга шила — я видел, как Хельга неделю сидела вечерами у окна. Синее, как небо в мае. С белым воротничком.

И коса.

Одна. Не две. Впервые.

Как у Лотты.

Я посмотрел на неё — и у меня что-то случилось. В груди. Как будто я проглотил уголёк из костра.

Ей было четырнадцать.

Я это знал. Я это помнил. Я каждый день это помнил.

Но она стояла в синем платье, с одной косой, и от неё пахло лавандой. И ей было — не шесть. Не десять. Не двенадцать.

И я испугался.

Так, как не пугался никогда. Даже когда Корвин в подвале у Крейна сказал Агате: «Мальчишка, который только что выпрыгнул в окошко. Тим, кажется? Сирота». Даже тогда — не так.

И я сказал первое, что пришло в голову. Самое глупое.

«Ты чего так вырядилась, Нелли? Тебя Бруна в пирог запечь хочет?»

А она сказала: «Когда я вырасту — я на тебе женюсь».

И поцеловала.

В щёку. Быстро. Неловко. Куда-то между щекой и ухом.

И убежала.

* * *

Я стоял у костра.

Не помню сколько.

Лукас что-то говорил. Я не слышал. Граф смотрел на меня. Граф слышит ложь. Граф видит всё.

Граф сказал: «Тим».

Я сказал: «Я поеду».

Граф сказал: «Когда?»

Я сказал: «Завтра».

Граф помолчал. Потом сказал: «Хорошо».

Он не спросил почему.

Он и так знал.

* * *

Я не попрощался.

Я пришёл в пять утра на кухню школы. Агата уже не спала — у неё тогда Эрик был маленький, он плохо спал. Она сидела у печки с ним на руках. Я сказал — «я уезжаю». Она сказала — «я знаю, Рэй сказал». Я сказал — «передайте всем».

Всем.

Я не мог сказать — «передайте Нелли». Потому что тогда Агата бы спросила — что передать? И я бы не знал.

Что передать?

«Нелли, я тебя не забуду»? Она бы подумала — как сестру. Как маленькую.

«Нелли, ты не маленькая»? Ей четырнадцать. Она маленькая.

«Нелли, когда ты вырастешь — я вернусь»? Кто я такой, чтобы обещать? Сирота с медяком на шнурке.

Я ничего не сказал.

Я заплакал.

Агата обняла меня. Одной рукой. Другой держала Эрика.

Потом я поднялся к Моте. Мотя спала. Я не стал будить. Я постоял над горшком. Поправил листик, который загнулся. И ушёл.

Мотя потом неделю ни с кем не разговаривала. Мне Лукас написал.

Нелли — я не знаю. Лукас про Нелли не писал. Никто не

писал.

Я не спрашивал.

* * *

Первое письмо я написал через неделю. В Сольмаре. В казарме школы сыска. Ночью. При свечном огарке.

«Нелли.

Я в Сольмаре. Тут большие дома. Пахнет не так, как дома. Ты бы учуяла — чем. Я не могу. Я только чую, что не так.

Тут нет Моти.

Ты её носишь? Не роняй. Если уронишь — лови в рукавице, не голыми руками.

Тим».

Я его не отправил.

Я его прочитал утром — и понял, что не могу. Что в нём — неправильно. Что я пишу про Мотю, а думаю — не про Мотю.

Я его положил в ящик. Деревянный. Из-под сургуча — нам в школе выдавали сургуч для учебных донесений, в таких ящиках.

Через неделю — второе.

Через неделю — третье.

Каждое воскресенье. Вечером. После учёбы. Перед сном.

Сто пятьдесят два воскресенья.

Сто пятьдесят два письма.

Ни одного не отправил.

* * *

Я знаю, что это глупо.

Ингрид говорит — «это не глупо, это клинически». Ингрид знает. Она нашла ящик на втором году. Случайно. Искала у меня в сундуке запасные шнурки. Нашла ящик. Открыла. Прочитала одно — первое попавшееся. Девяносто третье.

Потом пришла ко мне. Села напротив. Положила письмо на стол.

Сказала: «Тим. Кто такая Нелли?»

Я сказал: «Никто».

Ингрид сказала: «Ты ей девяносто три письма написал. Никому. Про то, как пахнет столичный рынок. Про то, как ты научился танцевать. Про то, как графиня Ленц наступила тебе на ногу. Про то, что тут нет пирожков с капустой». Пауза. «Никому — так не пишут».

Я молчал.

Ингрид сказала: «Почему не отправляешь?»

Я сказал: «Ей четырнадцать». Потом поправился: «Пятнадцать».

Ингрид сказала: «И?»

Я сказал: «И она должна вырасти. Без меня. Сама. Чтобы потом — если захочет — сама выбрала. А не потому, что Тим из детства пишет письма каждую неделю».

Ингрид долго смотрела на меня.

Потом сказала: «Тим. Ты — дурак».

И ушла.

И больше никогда не открывала ящик. Только иногда, по воскресеньям, — стучала мне в дверь и спрашивала: «Сто какое?»

Я отвечал.

Она кивала и уходила.

* * *

Я вернулся в мае.

Граф написал — «есть застава. В Тихом Броде. Нужен человек. Свой». Я сказал — «еду». Ингрид сказала — «я с тобой». Я спросил — зачем. Она сказала — «у меня в Сольмаре никого. А у тебя в Тихом Броде — мандрагора. Хочу посмотреть на мандрагору».

Врала.

Она хотела посмотреть на Нелли.

Я въехал в Тихий Брод на почтовой телеге. В новых сапогах. В куртке с полынью. С ящиком под мышкой.

Первое, что я увидел, — площадь.

Второе — колодец.

У колодца стояли двое. Лотта — с тростью. И рядом с ней —

Я не узнал.

Секунду. Две.

Высокая. Ну — не высокая. Мне до плеча. Но — выросла. Тонкая. В голубом платье с большими карманами. Коса вокруг головы. Белая. Почти белая. На солнце — как лён. Веснушки на носу.

Она смеялась. Над чем-то, что сказала Лотта. Запрокинула голову. Между передними зубами — щербинка. Маленькая.

Щербинка была всегда. С шести лет. Молочные выпали — а щербинка осталась.

Я узнал по щербинке.

И перестал дышать.

Телега проехала мимо колодца. Медленно. Лошадь хромала.

Нелли повернула голову. Посмотрела на телегу.

На меня.

Долго.

Потом — отвернулась. К Лотте. Что-то сказала. Лотта засмеялась.

И всё.

Она меня не узнала.

Или — узнала. И отвернулась.

Я не знал, что хуже.

* * *

С мая я видел её каждый день.

Мы не разговаривали. Ну — разговаривали. «Доброе утро, господин младший дознаватель». «Доброе утро, госпожа младшая нюхачка». Она называла меня так нарочно. Чтобы было смешно. Чтобы было — далеко.

Я называл её так же.

Чтобы было — далеко.

Потому что если близко — я не знаю, что сделаю. Я двенадцать лет не знал, что делать с руками, когда она рядом. В детстве — дёргал её за косу. Теперь — нельзя. Теперь — держу их за спиной. Или в карманах. Или — на поясе. На ноже.

Ингрид говорит — «ты при ней стоишь, как будто тебя сейчас арестуют».

Я так и стою.

* * *

А вчера — жребий.

Меня не было в шляпе.

Я это знаю точно. Бруна при мне писала записки. В понедельник. У себя в пекарне. Я зашёл за пирогами. Бруна сидела за столом, высунув язык, и выводила имена. Восемнадцать. Я видел все. Себя — не видел.

Я сказал: «Бруна, я на службе».

Бруна сказала: «Знаю, Тимоша. Тебя нету». И показала на стопку. «Видишь? Тебя нету».

Меня не было.

А потом Нелли вытянула меня.

«Тим Полынав».

Почерком Бруны. С ошибкой.

Я стоял у заставы. И смотрел на неё.

На её волосы.

Она расплела косу.

Я никогда не видел её с распущенными. Никогда. Ни в

шесть, ни в десять, ни в четырнадцать. Они у неё — до пояса. Белые. Как лён на солнце. Тяжёлые. Ветер их поднимал — и они летели. Через площадь. Я чуял лаванду. Через всю площадь.

Бруна сказала — «Господин младший дознаватель! Подойдите!»

Я подошёл.

Бруна сказала — «Вы протестуете?»

Я должен был сказать «да». Я — на службе. Меня нет в жребии. Это — ошибка. Это — подлог. Я — сыщик. Я обязан протестовать против подлога.

Я посмотрел на неё.

На её волосы.

На записку у неё в руке.

И подумал: это — лето. Одно лето. Потом — сентябрь. Экзамен. Сольмар. Она сдаст — она сдаст, я знаю, у неё нос лучше, чем у тех двоих, что сдали, я их нюхательные отчёты читал. Она сдаст — и её оставят в Сольмаре. Королевских нюхачей оставляют в столице. Лотта — единственная, кто вернулась. Потому что у Лотты здесь Петер.

А у Нелли здесь — что?

Не я.

Она уедет.

Это — последнее лето.

И я сказал: «Нет. Не протестую».

* * *

«Без обид», — сказала она вечером. У моста.

«Пункт четвёртый. На Урожайник — сжигаем записку. Без обид».

Я сказал — «хорошо».

Уши — не покраснели. Я знаю. Я специально следил.

Потому что я не врал.

Если она хочет сжечь — я сожгу. Без обид. Я ей это должен. За четыре года. За то, что уехал. За то, что не попрощался. За сто пятьдесят два воскресенья, которые она не знала, что я про неё думаю.

Она хочет сжечь.

Значит — сожгу.

* * *

Граф вернулся с Черничной вырубки в шесть утра.

Я как раз закончил левый сапог. Поставил рядом с правым. Сапоги блестели. Оба. В них отражался фонарь.

След исчез.

Граф спешился у крыльца. Посмотрел на сапоги. На меня. На банку ваксы.

Ничего не сказал.

Сел рядом. На ступеньку. Граф иногда так делает. Садится рядом — и молчит. Он так сидел с Агатой, когда она плакала по бабушке. С Лоттой, когда она узнала про мать. Со мной — в тот день, когда я рассказал ему, что не помню, откуда взялся.

— Пасека, — сказал граф.

— Да?

— Пустая. Но — недавно. Три дня назад. Может, четыре. В омшанике — где пчёл на зиму ставят — клетки. Были. Следы от них на земляном полу. Шесть. Маленькие. — Пауза. — Зола от дымаря — свежая. Войлок — клочья на гвозде. Дёготь — на пороге.

— А мандрагоры?

— Увёз, — сказал граф. — Знал, что мы придём. После коров — знал. Это был не вызов. Это была — проба.

— Проба чего?

Граф молчал.

Потом полез во внутренний карман. Достал что-то. Маленькое. Красное.

Положил мне на ладонь.

Кусочек сургуча. С ноготь. Отломанный от печати. На нём — половинка оттиска. Буквы. По кругу.

«…ВСКИЙ РЕ…»

— На полу в омшанике, — сказал граф. — У двери. Наступили — и отломали.

Я смотрел на сургуч.

«…ВСКИЙ РЕ…»

Королевский. Реестр? Регент? Ревизор?

— Это — королевская печать, — сказал я.

— Это — королевская печать, — сказал граф.

Тишина.

Река шумела. Колесо мельницы за рекой — бух-плеск,

бух-плеск. Ганс-мельник встал.

— Тим, — сказал граф. — Сегодня пришло письмо. Из Сольмара. Вчерашним дилижансом. Я распечатал по дороге.

Он достал письмо. Развернул. Протянул мне.

На бумаге — королевский герб. Подпись — какого-то секретаря из канцелярии двора. Печать — красный сургуч. С киноварью. Целая. По кругу — «КОРОЛЕВСКИЙ РЕЕСТР ЗАПОВЕДНЫХ САДОВ И РАСТЕНИЙ».

«…ВСКИЙ РЕ…»

«Настоящим уведомляем, что в целях внесения так называемого "Сестрина сада" в г. Тихий Брод в Королевский реестр заповедных садов и растений, а также в целях обеспечения его охраны, в Тихий Брод направляется королевский смотритель заповедных садов господин Юлиус Брандт. Прибытие — 24 июня. Просим оказать содействие».

Я читал.

Два раза.

— Двадцать четвёртое, — сказал я. — Это — послезавтра.

— Послезавтра, — сказал граф.

— А сургуч на пасеке — три-четыре дня назад.

— Три-четыре дня назад, — сказал граф.

Мы посмотрели друг на друга.

— Совпадение? — спросил я.

Граф встал. Отряхнул колени.

— Я не верю в совпадения, — сказал он. — И ты — тоже. Я тебя учил.

Он пошёл к лошади. Остановился. Обернулся.

— Тим.

— Да?

— Нелли учуяла сургуч? Под дёгтем? На грядке?

— Да.

— Первая?

— Первая. До всех. Я — не учуял. Лотты не было.

Граф помолчал.

— Хорошо, — сказал он. — Держи её рядом. Она нам нужна.

Он сел на лошадь. Уехал.

А я сидел на крыльце. С сургучом в одной руке. С письмом — в другой.

«Держи её рядом».

Граф — это человек, который слышит ложь. Граф никогда не говорит лишнего.

Граф сказал — «она нам нужна».

Нам.

Делу.

Я посмотрел на сапоги.

Блестели.

Оба.

* * *

Ингрид спустилась в семь. Растрёпанная. С яблоком.

Посмотрела на меня. На сапоги. На сургуч.

— Ты всю ночь чистил? — спросила она.

— Нет.

— Уши, — сказала Ингрид.

Я схватился за уши.

Ингрид села рядом. Откусила яблоко.

— Она тебя вытянула, — сказала Ингрид.

— Знаю.

— Тебя не было в шляпе.

— Знаю.

— Кто подложил?

— Не знаю.

Ингрид жевала. Медленно. Глядя на реку.

— Тим, — сказала она. — Сегодня воскресенье.

Я молчал.

— Сто пятьдесят третье, — сказала Ингрид.

Я молчал.

— Будешь писать?

Я посмотрел на неё.

Ингрид не смотрела на меня. Смотрела на реку. На мельницу за рекой. На заречный луг. На иву. На ограду Сестрина сада — отсюда её было видно, тонкой тёмной полоской.

— Она теперь рядом, — сказала Ингрид. — В ста шагах. Через мост. Ты её видишь каждый день. Ты с ней танцевал. Ты ей руки мазал полынью. — Она откусила яблоко. — Зачем писать, если можно — сказать?

Я молчал.

— Тим, — сказала Ингрид. — Ты — дурак.

И ушла в дом.

* * *

Вечером я написал сто пятьдесят третье.

«Нелли.

Ты наступила мне на сапог. Нарочно. Я не стёр. Потом он ушёл под тину. Мне жалко.

Ты учуяла сургуч. Граф сказал — первая. Он сказал — "держи её рядом".

Я и так держу.

Ты не знаешь.

Ты трогала Пуговку без рукавицы. У тебя волдыри. Как у меня — в десять. Мотя меня мазала листьями. Я тебя — полынью. Ты шипела. Как Мотя.

У тебя распущенные волосы — как лён. Я не знал. Я двенадцать лет не знал.

Ты сказала — "без обид".

Хорошо.

Без обид.

Тим».

Я сложил его. Вчетверо.

Поднял половицу у кровати. Третью от стены. Под ней — ящик. Деревянный. Из-под сургуча.

Сто пятьдесят два письма. Перевязанные бечёвкой. По пятьдесят. Три пачки. И два — отдельно.

Я положил сто пятьдесят третье — сверху.

Закрыл ящик.

Положил половицу.

Сел на кровать.

В нагрудном кармане куртки — я её снял, повесил на спинку стула — лежала лента.

Голубая. Выцветшая. Почти белая.

Нелли потеряла её на мельнице. Шесть лет назад. Ей было двенадцать. Она лазила за мной на иву — и лента зацепилась за ветку. Она не заметила. Я — снял.

Хотел отдать.

Не отдал.

Шесть лет она лежит у меня в нагрудном кармане. Она уже почти ничем не пахнет. Только — если очень близко. Если очень сильно вдохнуть. Тогда — лавандой. Совсем чуть-чуть.

Нелли вчера несла куртку через полгорода.

Если она её нюхала — она знает.

Она — нюхачка. Она нюхает всё.

Это не значит, что специально.

Я лёг. Не раздеваясь. В сапогах.

Они блестели.

В них отражался потолок.

И за окном — на той стороне реки — тонкая тёмная полоска. Ограда Сестрина сада.

Послезавтра — двадцать четвёртое.

Послезавтра приедет Юлиус Брандт.

С сургучом.

Глава 6.
В которой приезжает королевский смотритель

Он пришёл в семь.

Ровно. Колокол на ратуше ещё бил — а он уже стучал в дверь аптеки. Два раза. Не громко. Дед открыл, посмотрел на него поверх очков и сказал: «А. Летний кавалер. Наверх. Девятую ступеньку перешагни, она скрипит».

Тим перешагнул.

Я знаю, потому что не услышала скрипа. Я сидела на кровати, одетая, причёсанная, с повязкой в руках. С шести утра. Ждала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.